

Евгений Водолазкин Брисбен

Роман

Автор бестселлеров

«ЛАВР»,

«АВИАТОР»



Новая русская классика

Евгений Водолазкин

Брисбен

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Водолазкин Е. Г.

Брисбен / Е. Г. Водолазкин — «АСТ», 2018 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-111100-7

Евгений Водолазкин в своем новом романе «Брисбен» продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых – как в античной трагедии – вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский – музыкант-виртуоз – на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает... прошлое – он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-111100-7

© Водолазкин Е. Г., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

25.04.12, Париж – Петербург	6
1971	8
18.07.12, Киев	12
1972	14
19.07.12, Киев	18
1972	19
1972	24
15.09.12, Мюнхен	28
1973	30
01.10.12, Мюнхен	32
1974	34
02.10.12, Мюнхен	38
1975	39
09.11.12, Мюнхен	41
1975	42
20.12.12, Мюнхен	46
1976	47
03.02.13, Лондон	50
1977	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Евгений Германович Водолазкин

Брисбен

Роман

© Водолазкин Е.Г.

© ООО «Издательство АСТ»

Близким

*There is a reason to imagine that a continent,
or land of great extent, may be found
to the southward of the track of former navigators.*

James Cook, 1769¹

¹ Есть основание предполагать, что континент или значительного размера земля может быть найдена к югу от пути прежних мореплавателей. Джеймс Кук, 1769

25.04.12, Париж – Петербург

Выступая в парижской *Олимпии*, не могу сыграть тремоло. Точнее, играю, но нечетко, нечисто – так, как это делают начинающие гитаристы, издающие глухое бульканье вместо нот. Никто ничего не замечает, и *Олимпия* взрывается овациями. Я и сам забываю о своей неудаче, но, садясь под крики поклонников в лимузин, ловлю себя на характерном движении пальцев. Правая рука, словно искупая допущенную ошибку, исполняет теперь уже не нужное тремоло. Пальцы двигаются с невероятной скоростью. Касаются воображаемых струн. Так ножницы парикмахера, оторвавшись на мгновение от волос, продолжают стричь воздух. Подъезжая к аэропорту имени Шарля де Голля, выстукиваю неудачно сыгранную мелодию на стекле – ничего сложного. Как я мог запнуться на концерте?

Из Парижа лечу на съемки клипа в Петербург. Сосед по креслу пристегивает ремень. Поворачивает голову и замирает. Узнал.

– Вы – Глеб Яновский?

Киваю.

– Сергей Нестеров, – сосед протягивает руку. – Писатель. Публикуюсь под псевдонимом Нестор.

Вяложимаю руку Нестора. Вполуха его слушаю. Нестор, оказывается, возвращается с Парижского книжного салона. Судя по запаху из его рта, на салоне были представлены не только книги. Да и у писателя не чеховский вид: оттопыренные уши, седловидный, с крупными ноздрями нос и никакого пенсне. Нестор вручает мне свою визитную карточку. Засовываю ее в бумажник и прикрываю глаза.

Нестор – мне, спящему:

– Мои вещи вряд ли вам известны...

– Только одна, – не открываю глаз. – *Повесть временных лет*.

Он улыбается.

– Что ж, это – лучшее.

Я, собственно, тоже пишу. Дневник – не дневник – так, изредка делаю записи, дома по вечерам или в аэропортах. Потом теряю. Недавно как раз в аэропорту и потерял. Исписанные кириллицей листы – кто их вернет? Да и нужно ли?

Самолет вырывается на взлетную полосу, приостанавливается, но мотор тут же резко увеличивает обороты. Рыча и сотрясаясь от нетерпения, машина в одно мгновение набирает скорость. Так ведет себя на охоте хищник – дрожит, поводит хвостом. Не сразу вспоминаю, кто именно. Кто-то из семейства кошачьих – какой-нибудь, допустим, гепард. Хороший образ. Охота на пространство, отделяющее Париж от Петербурга. Самолет отрывается от земли. Наклонив крыло, совершает прощальный круг над Парижем. Чувствую, что начинаю засыпать.

Просыпаюсь от тряски, сопровождаемой объявлением о зоне турбулентности. Просьба ко всем – пристегнуть ремни безопасности. А я только что отстегнул. Даже ремень на брюках ослабил – жмет. Подходит стюардесса с просьбой пристегнуться. Говорю ей, что не люблю ремней – ни в машинах, ни в самолетах. Не для свободного человека приспособление. Девушка не верит, ведет себя в высшей степени кокетливо и на все мои доводы отвечает коротким *вау*. Ей искренне жаль, что такой замечательный артист летит непристегнутым.

Прекращая беседу, демонстративно поворачиваюсь к Нестору. Спрашиваю, тяжело ли писать книги. Нестор (спал пьяным сном) бормочет, что не тяжелее, чем играть на гитаре. Стюардесса не выражает ни малейшего раздражения, ясно ведь: звезда капризничает. Уж так им, звездам, положено. Грозит в шутку пальцем и уходит. Провожая ее взглядом, Нестор неожиданно говорит:

– Сейчас вдруг подумал... Я мог бы написать о вас книгу. Вы мне интересны.

– Спасибо.

– Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал.

Обдумываю предложение минуту или две.

– Не знаю, что и ответить... Обо мне есть уже несколько книг. По-своему неплохие, но все как-то мимо. Понимания нет.

– Музыкального?

– Скорее, человеческого... Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное истекает из человеческого.

Нестор тщательно обдумывает сказанное. Вывод – неожиданный:

– Я думаю, моя книга вам понравится.

Алкогольный выдох как предложение верить. Становится смешно.

– В самом деле? Почему?

– Потому что я хороший писатель. Нескромно, конечно...

– Есть немного. А с другой стороны – чего уж тут скромничать, если хороший. – Выстукиваю тремоло на подлокотнике кресла. – Валяйте, пишите.

Ритмичный стук напоминает мне, как сорок с лишним лет назад в Киеве выстукивал ритм Федор, мой отец, проверяя музыкальный слух сына. Чем не начало для книги? Поворачиваюсь к Нестору и кратко информирую его о самом первом моем экзамене, воспроизвожу даже предложенное тогда задание. Я с ним тогда не справился. Нестор, улыбаясь, стучит пальцами по подлокотнику. Он тоже проваливает экзамен.

1971

Накануне первого дня учебы Глеб сидел перед Федором и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести ритм. За окном трезвонили, поворачивая, трамваи. В ответ кротко звякала в буфете посуда. Потом Федор спел что-то и попросил повторить. Мелодию повторить не удалось – только слова: паба-паба, паба-паба, паба-па... Не ахти какие слова – не скажешь, что проникновенные, да и запомнились они единственно потому, что напоминали слово *papa*. Впрочем, Федор просил называть его по-украински – *тато*. Мало кто в Киеве так называл отцов. С Глебом и женой Ириной Федор не жил уже несколько лет: Ирина от него ушла. Вернее, ушел-то как раз Федор, которого Ирина попросила покинуть их жилье в семейном общежитии. Будучи изгнан, он снял комнату в другой части города и, имея диплом музыччища, устроился преподавать в музыкальной школе скрипку. Некоторое время после развода пил, предпочитая дешевые изделия вроде *72-го портвейна* или *Букета Молдавии*. Крепких напитков не любил. Если уж пил водку, то, наполнив рюмку, делал это не сразу – несколько раз подносил к глазам, ко рту. Несколько раз выдыхал. Затем зажимал пальцами нос и вливал огненную воду в широко открытый рот. Бывшая жена считала это пьянство показательным, поскольку протекало оно преимущественно на виду у тех, кто мог Ирине о нем рассказать. В одном из редких разговоров с бывшим мужем такое поведение Ирина назвала детским. Не переходя на русский, Федор возразил ей, что определение не выдерживает критики, поскольку дети, по его представлениям, не пьют. Логика была на его стороне, но вернуть Ирину это не помогло. Года три-четыре спустя, когда Федору стало окончательно ясно, что жена не вернется, пьянство прекратилось. Ирина позволяла отцу навещать Глеба, но радости от этих посещений не испытывала. Строго говоря, не испытывал их и сам Глеб. Взяв мальчика на прогулку, Федор по большей части молчал или читал наизусть стихи, что для Глеба в каком-то смысле было хуже молчания. Порой, когда в конце прогулки Глеб уставал, Федор брал его на руки. Их глаза оказывались тогда на одном уровне, и сын рассматривал отца немигающим детским взглядом. Под этим взглядом в карих глазах Федора появлялись слёзы. Одна за другой они скатывались по щекам и навеки исчезали в пышных усах. Несмотря на очевидную трезвость в начале прогулки, к концу ее Федор непостижимым образом оказывался навеселе. Сидя на руках у отца, Глеб различал запах дешевого вина. С этим запахом в памяти мальчика прочно соединились отцовские слёзы. Может быть, они и в самом деле так пахли – кто изучал запах слез? Когда без пяти минут первоклассник Глеб заявил о своем желании учиться играть на гитаре, Ирина сама привела его к Федору. Сидела в углу и молча следила за тем, как, повторяя напетое отцом, Глеб не попадал в тональность. Гліб... Федор налил себе полстакана вина и выпил в три глотка. Гліб, дитя моє, ти не створений² для музики. Папа, не пей, попросил по-русски Глеб. Отец налил еще полстакана и сказал: п'ю, бо ти не створений для музики – перший з музичного роду Яновських. Заметил лежащую на столе хлебную корку и поднес ее к носу: прикро! Что такое *прикро*, спросил Глеб. Прикро – это досадно, сказала Ирина. Да, досадно, подтвердил Федор. Не проронив больше ни слова, мать взяла сына за руку и вывела из комнаты. На следующий день они пошли записываться в ближайшую музыкальную школу. Там Глеба тоже попросили повторить ритмическую фразу и пропетую мелодию. Волнуясь, мальчик выполнил задание еще хуже, чем накануне, но это никого не обескуражило. Неожиданность подстерегала Глеба в другом: его рука оказалась слишком мала для гитарного грифа. Потому

² (Не) создан. Автор исходит из того, что украинский язык русскому читателю в целом понятен. Тем не менее в книге предлагается перевод отдельных слов, способных вызвать у читателя затруднения. Слова переводятся в форме (род, число, падеж, лицо), соответствующей оригиналу. При чтении украинских текстов следует принимать во внимание, что буква *е* читается как русская буква э, *є* как *е*, *і* как *и*, *и* как *ы*, *ї* как йотированная *и*, *г* напоминает жестко произнесенную *х*. Звонкие согласные в конце слога не оглушаются, *о* в безударном положении не переходит в *а*.

в музыкальную школу его предложили принять по классу четырехструнной домры – до тех, по крайней мере, пор, пока не вырастет его рука. Ирина, явно растерянная, спросила, почему речь идет именно о четырехструнной домре. Ей ответили, что есть, конечно, и трехструнная домра, но типично украинской (гитару в руках Глеба заменили на домру) является все-таки четырехструнная. Гриф домры пальцы мальчика обхватывали без напряжения. Ирину также попросили не путать обе домры с восточной домброй и даже собирались объяснить разницу между ними, но этого она не захотела слушать. Хотела было спросить, отчего это нельзя подобрать для Глеба гитару меньших размеров; спросить, не обманом ли суют ее сына туда, куда добровольно никто не идет, но – промолчала. Встав, просто взяла Глеба за руку. Другая его рука все еще держала домру. Ирина показала взглядом, что инструмент можно положить, но Глеб этого не сделал. Ты хочешь играть на четырехструнной домре, поинтересовалась она. Хочу, ответил мальчик. Это решило дело, потому что мать старалась ему лишний раз не отказывать. В музыкальную школу его записали по классу домры. Тогда же Глеб пошел и в обычную школу. Он навсегда запомнил цвета, запахи и звуки, явленные ему 1 сентября 1971 года, потому что в тот день его чувства резко обострились. Запах только что поглаженной школьной формы – коричневой, с кинжальными стрелками на брюках. Цвет и стрелки были тем, что, казалось Глебу, рождало этот запах. Точно так же, как запах болоньевой куртки возникал из водонепроницаемых свойств материала. При первом же дожде материал оказался проницаемым, но на память о запахе это никак не повлияло. Это была первая болоньевая куртка Глеба, носившего до того только пальто. Теплый сентябрьский день не требовал куртки, но мальчику очень хотелось прийти именно в ней, хотя мать была против. Спустя годы, рассматривая свою первую школьную фотографию, Глеб Яновский нашел эту куртку на редкость бесформенной. Он так и не смог понять, чем именно изделие тогда ему нравилось. Может быть, оно опьяняло его своим запахом, как хищное растение пьянит насекомых. Как бы то ни было, 1 сентября мать, как всегда, пошла ему навстречу. Помогла надеть куртку и ранец. Посоветовала лишь куртку не застегивать. Ранец пах кожей, и еще водой и маслом, и ядовитой пластмассой пенала, в котором громыхали ручки и карандаши. При спокойном движении мальчика громыхание было умеренным, но когда он переходил на бег, звук многократно усиливался. Отбивавшийся четкий ритм напоминал оркестровую погремушку мараку. Будучи уже постарше, мальчик задавался вопросом: где учатся игре на мараке – неужели в музыкальной школе есть класс мараки, подобно классу скрипки или фортепиано? И не находил ответа, потому что не было такого класса. Так вот, ранец, школа. По желанию отца Глеба отдали в школу, где обучали на украинском языке. Мать не возражала. Она почти никогда не возражала. Зная ее способность примиряться с обстоятельствами, можно было бы удивиться тому, что ей хватило характера расстаться с мужем. Удивительным, однако, было скорее то, что они с ним сошлись. Федор был родом из Каменца-Подольского, а Ирина – из Вологды, оба в свое время учились в Киевском институте гражданской авиации, и оба попали туда случайно. Ирина – после неудачной попытки поступить в театральный, Федор – в консерваторию. Так они получили возможность остаться в большом городе. Гражданской авиацией не интересовались ни в малейшей степени. Это была одна из немногих вещей, которая их объединяла. В остальном же они говорили на разных языках в прямом и переносном смысле. Считается, что несходство рождает влечение, и это справедливо – но только на первых порах. Да, темноволосого южанина Федора притягивала северная красота Ирины. Эта красота была как туман в кратком утреннем безветрии, как сон царевны, который соблазнительно нарушить, была тихим прудом, по которому хочется, чтобы пошли круги. На Ирину же производила впечатление неизменная задумчивость Федора, намекавшая на опыт и мудрость. Она с удовольствием вслушивалась в произносимые им украинские слова и каждую минуту требовала перевода. Но то, что разогревало чувства в первые годы, с течением времени в глазах Ирины обратилось в свою противоположность. Задумчивость Федора стала казаться ей угрюмостью, мудрость являлась не с той частотой, на какую она

рассчитывала, а непонятные слова красивого, но чужого языка начинали вызывать раздражение. Она уже не спрашивала их перевода, дожидаясь, когда Федор догадается сделать это сам. Ирина могла бы заставить его перейти на русский (в ответственных случаях он так и поступал), но в произношении Федора родной язык казался ей чудовищным. А в постели, слыша его русские слова, она смеялась, как от щекотки, отталкивала его и просила говорить только по-украински. А потом она ушла. Уже взрослым Глеб неоднократно слышал об иной причине развода – якобы *легкомысленном* поведении Ирины. В легкомыслие матери (что бы под ним ни подразумевалось) он, пожалуй, мог бы поверить, но развод с ним не связывал. Причина развода, как казалось ему, была глубже и в чем-то трагичнее. Произошедшее между родителями Глеб объяснял той особой задумчивостью, в которую отец время от времени впадал. Этой задумчивости мать, человек жизнерадостный, стала бояться. В такие минуты Глеб также чувствовал себя неуютно. Отец словно проваливался в глубокий колодец и созерцал оттуда звёзды, видимые только ему, – даже днем, такова оптика колодцев. Когда Ирина ушла, всю полноту чувств Федора ощутила скрипка. Обычно он играл наедине с собой. Эту игру Глеб однажды слышал, когда с разрешения матери остался ночевать у отца. Рано утром, чтобы не будить мальчика, Федор играл, закрывшись в ванной. Включив к тому же воду, чтобы заглушить звуки скрипки. Эти звуки, смешанные с шумом воды, потрясли Глеба до глубины души. В 2003 году он написал несколько композиций, где на фоне шума воды звучит гитара, и это было воспоминанием об игре отца. Когда он их записывал, у него возникла вдруг мысль, что на самом деле воду отец тогда включил, чтобы спокойно повеситься. Когда Глеб закончил записывать композиции с дождем, ему сказали, что на них лежит отблеск отчаяния. Глеб ничего не ответил. Он помнил особое выражение глаз отца, которое только и можно было определить как отчаяние. Что же в действительности тогда происходило? Была ли Ирина легкомысленной? Скорее – легко всё воспринимающей, отдающей явное предпочтение солнечной стороне жизни. И не склонной особо вникать в ее теневые стороны. Она часто повторяла, что хотела бы жить в Австралии – почему-то эта страна казалась ей воплощением беззаботности. В шутку просила, чтобы нашли ей мужа-австралийца, с которым они могли бы путешествовать по всему миру. В одном из таких разговоров Глеб впервые услышал слово *Брисбен*. Говоря о городе своей мечты, мать назвала Брисбен. Когда ее спросили, почему именно этот город, ответила просто: красиво звучит. Ответ показался смешным – всем, кроме Глеба. Брисбен. Город легко присоединился к Зурбагану, Гель-Гью и Лиссу, о которых мальчик читал у Александра Грина. Глеб тогда спросил у матери, возьмет ли она его с собой в Брисбен. Конечно, возьмет. Мать поцеловала его в лоб. Как она может его не взять? Придет время, и они будут жить в Брисбене. Годы спустя, когда Глеб уже заканчивал школу, Ирина на сэкономленные деньги хотела купить себе путевку в Австралию. Ее вызвали на парткомовскую комиссию, которая должна была разрешить ей поездку, точнее, как выяснилось, – не разрешить. Она не была членом коммунистической партии, так что вопрос, отчего все решалось партийным комитетом, остается открытым. Ей предложили поименно назвать членов политбюро, поинтересовались, о чем шла речь на последнем съезде компартии, и попросили перечислить основные преимущества социалистического строя перед капиталистическим. Она ответила на первое, на второе и даже на третье. Третье представлялось ей самым сложным, но она справилась и с этим, потому что готовилась тщательнейшим образом. И тогда Ирине был задан последний вопрос – неотразимый, как танковый залп. Ее спросили, видела ли она уже всё в СССР. На этот вопрос невозможно было ответить утвердительно – слишком уж велика была страна, в которой ей довелось родиться. Отрицательный же ответ подразумевал, что матери Глеба следует отложить поездку в Австралию до полного ознакомления с СССР – так, по крайней мере, казалось членам комиссии. В разрешении ей было отказано. Впрочем, отнеслась Ирина к этому легко; она почти ко всему так относилась. Может быть, благодаря именно этому качеству вскоре после развода получила комнату в коммуналке. Получила от конструкторского бюро, в которое ее распределили после

учебы, как молодой специалист в области гражданской авиации. Отнесись она к такой возможности серьезно – ничего, наверное, ей бы не дали. С переездом из общежития в коммуналку в жизни Глеба изменилось многое. Прежде всего – появилась бабушка Антонина Павловна. Она приехала из Вологды подменять мать, то и дело уезжавшую в разных направлениях. Свое отсутствие мать объясняла командировками, причем всякая заканчивалась подарком Глебу. Подарки – чаще всего это были пластмассовые игрушки – тихо раскладывались на подушке спящего мальчика. Он не задумывался, почему мать любила именно такие игрушки, просто принимал их с благодарностью. Как натренированная на поиск собака, просыпался от чуть слышного пластмассового запаха, касавшегося его ноздрей, потому что это был запах радости. Открыв глаза, видел мать. Она сидела на табуретке у его кровати и улыбалась. Порой плакала: никогда ее возвращения не были делом обыденным. Отчего у тебя стало так много командировок, спросил однажды Глеб. Мать покраснела и не ответила. Бросила взгляд на бабушку, но та сделала вид, что ничего не заметила. Вытерла руки о передник – у нее всегда был этот спасительный жест. Когда мать ушла на работу, Глеб повторил свой вопрос бабушке. Антонина Павловна, помолчав, приложила палец к губам. Тс-с, сказала она Глебу, понимаешь, ей нужен рядом надежный человек, только где его найдешь? А папа, спросил Глеб, – он ненадежный? Папа... Бабушка вздохнула и развела руками. Между тем папа был очень рад, что Глеб играет на украинском народном инструменте, в особенности же – что сын выбрал его сам. Отсутствие слуха теперь не казалось Федору непреодолимым препятствием, – он высказывался даже в том духе, что абсолютный слух при игре на домре и не нужен. Для игры на скрипке, у которой нет ладов, он, да, желателен, но к инструментам, гриф которых разделен на лады, такое требование избыточно. К тому же слух, по мнению Федора, мог еще и развиваться. (Якоюсь мірою³, уточнял он.) В один из дней Федор повез Глеба в магазин музыкальных инструментов и предложил купить ему домру. Выбрать ее отец демонстративно предоставил сыну: разбираться в качествах двенадцатирублевых инструментов он считал ниже своего достоинства. Пробежавшись по магазину, Глеб остановился на самой темной из всех домр и принес ее отцу. Федор строго посмотрел на сына: у неї ж немає струн. Будь уважний⁴, синку. После некоторого колебания отец взял одну из домр и провел большим пальцем по струнам. Поморщился от фанерного звука, напоминавшего звяканье игрушечной балалайки. Другая домра была такой же, и все остальные тоже. Выбрали, как и хотел Глеб, по цвету – не такую темную, как первая, но зато со струнами. Когда они вернулись, дома пахло приготовленным обедом. Останешся обедать с нами, спросил отца Глеб. Ні, ответил Федор. Мене ніхто й не запрошує. Что такое *не запрошує*, полюбопытствовал мальчик. Не приглашает, глядя в глаза Федору, пояснила Ирина. Бабушка молча вытирала руки о передник. Ей казалось, что человека, еще недавно бывшего мужем ее дочери, следует пригласить.

³ (В какой-то) мере.

⁴ Внимателен.

18.07.12, Киев

Приехав на гастроли в Киев, посещаю отца. Он принимает меня доброжелательно, но без лишней суеты.

– Привіт, москалю. Що скажеш?

Улыбается. Улыбаюсь в ответ:

– Скажу: вливайтесь в империю!

На папиросную бумагу отец насыпает табак, скручивает ее и, проведя по ней языком, склеивает. Этого раньше не было.

– Нам цього не можна.

– Почему?

Он щелкает зажигалкой и выпускает первый клуб дыма.

– А ти, синку, подумай сам.

Входит Галина, вторая жена отца, испуганно мне кивает. Ставит перед мужем пепельницу и выходит.

– У меня какие-то сложности с правой рукой, – сгибаю и разгибаю пальцы. – Выступал в Париже – чуть не провалился.

– Грають не рукою – душею. Згадай⁵ Паганіні – він грав за будь-яких обставин⁶.

Смотрит на меня с полуулыбкой.

– Одна струна у него все-таки была – это уже кое-что. А вот без руки, знаешь...

– Він зіграв би і зовсім без струн, синку. І без руки б зіграв. – Подумав, отец добавляет: – А втім⁷ – піди до лікаря.

Да, возможно, схожу. Перед самым уходом почему-то вспоминаю о предложении литератора из Петербурга написать обо мне книгу. Рассказываю об этом отцу. Он пожимает плечами, и я уже жалею, что рассказал. Скручивает новую папиросу, закуривает.

– Музыка – вона і в Петербурзі музика. Хай пише.

Выпущенный дым продельывает сальто-мортале – настолько же сложное, насколько медленное. С возрастом, кажется, и отец замедлился. Стал мягче. А может быть, равнодушнее.

– Тут не в музыке дело, – говорю. – Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. Это он потом становится музыкой или, там, литературой. Не знаю, поймет ли это писатель.

От отца до гостиницы иду пешком. Чтобы не узнавали, надвигаю на нос кепку – это лучше, чем солнцезащитные очки, которые привлекают внимание сами по себе. Дорога лежит через Ботанический сад. По боковой аллее дохожу до кафе, в котором мы с бабушкой ели мороженое. Кафе на месте, мороженое, по-видимому, тоже, а вот бабушки – нет. В каждый приезд прихожу на кладбище, где нас разделяет два метра грязно-рыжей глины.

Сажусь на скамейку и смотрю на кафе. У самых ног – белка. Стоит на задних лапках, передние молитвенно сложены на груди. Объясняю ей, что еды с собой не ношу, что мог бы, конечно, что-то купить и принести ей, но это так сложно... Слова бессильны. Хлопаю себя по карманам, чтобы белка видела: угостить мне ее нечем. Для наглядности достаю бумажник и даже его открываю. Есть в этом, безусловно, излишняя театральность. В смысле продуктов возможности бумажника никакие. Предел мечтаний – сыр в нарезке.

Замечаю визитку Нестора. Зачем я начал рассказывать ему о детстве? Зачем он всё это будет писать? Возникает мысль бросить визитку белке – пусть она ему позвонит. Напишет о

⁵ Вспомни.

⁶ (При любых) обстоятельствах.

⁷ Впрочем.

белкиной жизни, разве она не интересна? Обо мне издано уже с полдюжины книг, а вот о белке, пожалуй, ни одной. Разве что *Повести Белкина*. Беру кусочек картона двумя пальцами, всё готово для полета. Медлю. В сущности, о моей *жизни* тоже – ни одной. О чем угодно писали, только не о жизни. М-да, есть о чем подумать... Кладу визитку обратно.

1972

Всю осень Глеб провел с Антониной Павловной. После школы они ходили в Ботанический сад, который находился прямо против дома. Ботаническим садом это сказочное место никто не называл, говорили – *Ботаника*. Там Глеб с бабушкой собирали букеты кленовых листьев, ярко-желтых и ярко-красных, – они стояли по всей комнате в молочных бутылках. Собирали шиповник, из которого бабушка заваривала чай. Сам по себе шиповник не слишком увлекателен, с чем-то таким она его смешивала, что делало вкус чая богаче. Но главный интерес чая состоял, конечно же, в том, что шиповник был собран своими руками. Это была открытая часть Ботаники, где позволялось собирать всё что угодно. Сад спускался с холма террасами, и на одной из террас водились белки. Точнее, водились-то они по всей Ботанике, но на этой террасе позволяли себя кормить. Брали еду прямо из рук. В кармане демисезонного пальто Антонина Павловна приносила для них лесные орехи. Пальто она купила в Киеве и слово *демисезонное* (видимо, услышав у кого-то) некоторое время произносила в нос, потом перестала. В остальном же по-вологодски *окала*: хорошо, молоко, мороженое. Да, мороженое: оно было главной радостью Ботаники, а днем его было воскресенье. Часов около двух бабушка с внуком приходили в открытое кафе, размещавшееся над выходом метро *Университет*. Всё здесь было круглым: выход метро, кафе, не говоря уже о шариках мороженого – они просто не могли быть другими. Их подавали в пластмассовых вазочках, а ели пластмассовыми ложечками. Эти прекрасные вещи были неотчуждаемой собственностью кафе, поскольку время одноразовой посуды еще не наступило. Между тем Глебу ложечки очень нравились. Как-то раз, облизав одну после очередной порции мороженого, он засунул ее в карман штанов. О приобретении сообщил бабушке дома. Бабушка еще ничего не сказала, а ответ уже отпечатался на ее лице. Всё в этом лице в буквальном смысле опало: надбровные морщины, мешки под глазами, уголки губ. Получалось так, что ложечку он украл – и завтра после школы они вместе (мы ведь украли вместе, уточнила бабушка) пойдут ложечку возвращать. Возврат мыслился Глебу актом торжественным и страшным, с привлечением всего персонала кафе, а может быть, и милиции. Ночью он почти не спал, а потом оказалось, что все-таки спал, но сон был хуже бодрствования. Вот они с бабушкой входят в кафе, садятся за столик. Не успевают еще ничего заказать, как от соседних столиков к ним бегут милиционеры, притворявшиеся рядовыми любителями мороженого. Одеты в штатское, во внешнем виде – избыточная легкомысленность: панамы, шейные платки, шорты. Уже по одному этому можно было бы догадаться, что речь идет о засаде. Милиционеры бросаются на Глеба (полные ужаса глаза бабушки), и это самый страшный эпизод ареста. Когда заламывают ему руки за спину – не страшно, когда защелкивают наручники и ведут к машине марки *Волга*, ГАЗ-21 – не страшно. А вот когда вскакивают и бегут к нему – страшно. Суки, менты гребаные, кричит Глеб, переходя на визг. Так кричит сосед дядя Коля, когда его забирают, – кричит и катается по полу, а вся квартира смотрит на него с осуждением. Смотрит сверху вниз. И Глеб катается, ловя взгляд бабушки: что, дождалась? Что, нельзя было дома отсидеться? Бабушка плачет: она уже всё поняла. Сидеть в машине со связанными сзади руками неудобно, но то, что его везут в *Волге*, несколько скрашивает ситуацию. Глеб давно мечтал прокатиться на *Волге* (один олень впереди чего стоит!), только всё как-то не складывалось... Да, часть ночи он все-таки не спал – и потом подремывал на уроках. После уроков они с бабушкой действительно пошли в кафе. Вопреки ожиданиям мальчика, всё прошло довольно просто и даже не без приятности – потому, наверное, что самое плохое случилось ночью. Бабушка заказала две порции мороженого и, пока их несли, положила злосчастную ложечку на соседний стол. Через много лет Глеб вспоминал эту ложечку в самолетах, помещивая поданный стюардессой чай. В то время он летал почти еженедельно (бабушки уже не было рядом – она, мертвая, лежала на киевском кладбище *Берковцы*) и имел, соответственно, широ-

кие возможности выбирать себе ложечки по душе. Но не взял больше ни одной: жизнь – учит. Теперь об учебе. Глеб, как сказано, ходил в школу с украинским языком обучения. Этот выбор приветствовался не только отцом (что понятно), но и матерью, считавшей, что нужно знать язык края, в котором живешь. На сделанный выбор повлияло, правда, и практическое обстоятельство. В то время как русские школы ломились от желающих в них учиться (5 параллельных классов по 45 человек в каждом), в украинских царили спокойствие и камерность. Класс Глеба насчитывал 24 ученика, а параллельных классов не было. В этой школе учились дети украинских писателей и – поскольку она находилась рядом с вокзалом – ребята из ближайших к Киеву сел. Глеб не принадлежал ни к тем, ни к другим, и его украинский ограничивался отдельными словами, услышанными от отца. Впрочем, в ответственных случаях выяснялось, что писательским детям известно было тоже не всё. Когда на первом уроке классная руководительница Леся Кирилловна спросила, как по-украински будет *камыш*, ответ знали только деревенские. *Очерет*, произнес ученик по фамилии Бджилка. *Очэрэт*, зачарованно прошептал Глеб. Он с горечью подумал, что среди людей, знающих такие волшебные слова, ему делать нечего. Он обречен плестись в хвосте и восхищаться теми, кто впереди. Глеб, однако, ошибся. За все последующие годы Бджилка не дал больше ни одного правильного ответа: *очерет* был его звездным часом. Впоследствии Глеб пытался вспомнить, отчего на первом уроке Леся Кирилловна заговорила о камышах. Очевидно, было тому какое-то объяснение. Хотя не обязательно: в общеобразовательных учреждениях случались ведь и необъяснимые вещи. Даже загадочные. Так, в минуту гнева Леся Кирилловна шевелила губами, что-то беззвучно произнося. То есть кое-что в таких случаях она произносила и вслух, но озвученное имело в целом характер благополучный – по крайней мере, в сравнении с выражением ее лица. Загадкой оставалось лишенное звука, и выражение лица соответствовало, очевидно, ему. Когда однажды Глебову уху случилось оказаться у самых губ Леси Кирилловны (она наклонилась над ним), некоторые из загадочных слов прояснились. Есть случаи, когда разгадка не приносит утешения. И радости не приносит. Радость в жизни вообще редкая гостья. Из всех безрадостных вещей не было в эти годы ничего безрадостнее уроков русского языка. Каждый такой урок Леся Кирилловна начинала с разминки, которая, по рекомендации методички, включала в себя скороговорки. В сущности, это была одна, но очень печальная скороговорка: *жу́тко жу́ку жи́ть на су́ку*. Сначала сидящие в классе произносили ее по очереди, затем – хором. Выслушав всех с мрачным видом (а с каким еще видом можно слушать такой текст?), Леся Кирилловна облизывала губы и готовилась показать эталонное произношение. В первом *у* она плавно переходила на вой, остальные были не многим краше. В таком исполнении скороговорка лишалась скорости, но ощутимо приобретала в жути. Лишь послушав Лесю Кирилловну, чувства жука можно было понять в полной мере. Некоторые плакали, глядя, как, стоя у стола, их учительница выпускала одну *у* за другой и они бесконтрольно (и жутко) летали по классу. Вообще говоря, с Лесей Кирилловной всё было не так просто: как-то в середине учебного года, заглянув в дверную щелку, ученица Плачинда увидела, как Леся Кирилловна садилась поочередно на места разных учеников и, подражая им, тонкими детскими голосами давала ответы на учительские вопросы. Чтобы задать эти вопросы, педагог всякий раз возвращалась за свой стол и оттуда нарочито брутальным голосом обращалась к очередной жертве. Голос ее сам по себе был достаточно брутален, так что усиления, строго говоря, не требовалось. Больше всего ученицу поразили два обстоятельства. Первое: отвечая в роли Плачинды, Леся Кирилловна гримасничала, горячо жестикулировала, и из ее писка было понятно, что урок не выучен. Второе: вернувшись на учительское место, Леся Кирилловна обрушила на отвечавшую поток отборных матерных ругательств. Да, ученице было неприятно, что кто-то видит ее так со стороны, да, неприятно, что не выучен урок, но почему, спрашивается, мат, да еще какой мат! Когда она рассказала обо всем дома, родители, к ее удивлению, проявили сдержанность. Пожевав губами, Плачинда-отец пробормотал, что, в конце концов, школа общеобразовательная, что обучение школьников ведется

в самых разных направлениях... Между тем, помимо общеобразовательной, Глеб продолжал ходить и в музыкальную школу. Первые две недели с ним занималась одна лишь Вера Михайловна, молодая полная дама. Несколько раз мальчик слышал, что она – его учительница *по специальности*. Ему нравилось, что теперь у него есть специальность, есть учительница, которая занимается с ним одним и *ставит ему руку*. Его маленькая ладонь в руках Веры Михайловны была пластилином: преподаватель лепила из нее руку настоящего домриста. Она придавала его пальцам правильное положение, иногда встряхивала, как бы сбрасывая с них все ошибки и неточности, и мяла, мяла, мяла. Именно эта часть занятий нравилась Глебу больше всего. От прикосновений Веры Михайловны по его руке и позвоночнику проходил низкого напряжения ток. Может быть, поэтому он довольно быстро научился правильно держать медиатор, небольшой пластмассовый лепесток, которым касаются струн домры. В отличие от гитарных струн, которые длинны и мягки, струны домры коротки и жестки, здесь без медиатора не обойдешься. Держать его следует большим и указательным пальцами правой руки, сама же рука (кисть) должна иметь форму домика. Играть нужно – и это очень важный момент – кистевым движением, а не всей рукой. Вот кистевое-то движение у Глеба и не получалось, почему-то начинала двигаться вся рука. Но к началу октября получилось. В октябре Ирина с Глебом и Антониной Павловной не жила. Она заходила домой почти каждый вечер, пила чай, но ночевать отправлялась в какое-то другое место. В отличие от командировок, это была долговременная история, а главное – куда более серьезная. Куда ты всё время уходишь, спрашивал ее Глеб, но мать не отвечала. Улыбалась. В глазах ее светилось счастье. В ноябре она вернулась домой, причем как-то странно, среди ночи. Вид у нее был подавленный. Глеб с бабушкой ничего не спрашивали, а она не объясняла. С этого дня все ночи Ирина проводила дома, что Глеба несказанно радовало. Ему вовсе не было плохо с бабушкой, просто он любил, когда все в сборе. Кроме того, Антонина Павловна, как ни крути, была во всех смыслах бабушкой – и по возрасту, и по положению, Ирина же – молодой женщиной, с которой ему было интересно. Той осенью, однако, в жизни Глеба возникла женщина, общение с которой оказалось еще интереснее. Это была учительница музыкальной школы Клавдия Васильевна (Глеб мысленно называл ее Клавочкой), которая стала его первой любовью. Клавочка была, в сущности, совсем еще девочкой, но даже в этих обстоятельствах она оказывалась втрое старше своего почитателя. И примерно вдвое выше. Впрочем, не это беспокоило Глеба больше всего. Клавочка преподавала то, что любимой женщине преподавать ни в коем случае не следует: сольфеджио. Отправляясь раз в неделю к ней на урок, Глеб испытывал два противоположных чувства: любовь к Клавочке и отвращение к ее предмету. До сольфеджио музыка казалась ему слетевшей с небес, не имеющей в своей красоте никаких объяснений. Но объяснения существовали, и они были похожи скорее на математику, чем на музыку. Воздушный корабль, на котором пустился в плавание Глеб, имел, оказывается, довольно мрачное машинное отделение, где ухали маховики и остро пахло смазкой. Самым удивительным было то, что командовала в этом крошечном мире Клавочка. Свойства же этого мира стали понятны Глебу не сразу. Пока Клавочка объясняла длительность нот и особенности нотного стана, ничего плохого даже не приходило в голову. Первые опасения стали закрадываться, когда она перешла к трезвучиям. Сообщила, что трезвучием называется аккорд из трех звуков, расположенных по терциям. Одна лишь радость была в этом – смотреть на Клавочкины тонкие пальцы, которыми она показала трезвучия на фортепьяно: до-ми-соль. Потом спела еще: до-ми-соль. Голос нежный, бархатный – спела бы, честное слово, что-нибудь другое... Что еще было плохо на сольфеджио – Клавочка занималась не с одним Глебом: на занятиях присутствовало еще семь человек. И все, кстати, кроме учащейся Анны Лебедь (специальность – виолончель), сольфеджио не любили. Например, сидевший за одной партой с Глебом Максим Клещук (аккордеон) постоянно сучил ногами, а при слове *трезвучие* покрывался потом. Как-то раз Клавочка целое занятие посвятила обращению трезвучий, которое состоит в перенесении нижнего звука на октаву вверх. Первое обращение

– секстаккорд, второе обращение – квартсекстаккорд. Клещук, сказала она в конце занятия, построй-ка мне тонический секстаккорд в до мажоре. Клещук, и до того сидевший с напряженным лицом, словно окаменел. По его лицу беззвучно катились крупные слёзы. Под его сидением раздавалось негромкое журчание. Все смотрели под сидение Клещука, потому что, как бы ни были крупны его слёзы, журчать они, безусловно, не могли. Правая рука аккордеониста лежала на парте и держала авторучку, а левая сжимала что-то под партой. С сидения, имевшего вогнутую форму, тонкая струйка стекала в образовавшуюся на полу лужу. Больше о трезвучиях Клавочка Клещука не спрашивала, ограничиваясь вопросами о длительности нот. Это значило, что о трезвучиях должны были чаще говорить другие ученики. Глеб мало что мог сказать любимой девушке о трезвучиях, и это его очень расстраивало. Дома он часами сидел над учебником с одной лишь целью: не ударить в грязь лицом перед Клавочкой. Время от времени брал изучаемые аккорды на домре. Иногда поднимал глаза и наблюдал за скольжением снега за окном, ведь как-то незаметно наступила зима. Сосредоточиться на трезвучиях Глебу было непросто – не только из-за снега. Дома многое отвлекало. Дома. Дому. Дом. Единственный, возможно, в его жизни. Потом домов было много – так много, что они потеряли свое домовое качество и стали местом жительства. А с этим связывала пуповина: Дом. Маленький, двухэтажный, стоял на бульваре Шевченко, бывшем Бибиковском. На втором этаже – балкон, скрытый в ветвях старого каштана.

19.07.12, Киев

Побывал там, где когда-то стоял мой дом. На месте дома возвышается нечто застекленное – пятизвездочная, судя по вывеске, гостиница. По стенам-стеклам скользит люлька мойщиков окон. Их двое, они стоят по разным концам люльки и делают энергичные движения руками. Стекло отражает их, а также – оранжевые лучи заката, которые растекаются по стеклу вместе с моющим средством.

Бабушка мыла окна совсем по-другому. Сначала – тряпкой, тряпкой же вытирала, а последние штрихи наводила смятой в ком газетой. На промокшую газету раз за разом накладывалась свежая, образовывалась такая как бы луковица, скрипящая и визжащая при соприкосновении со стеклом. Подобный звук издают струнные инструменты, если ногтями большого и указательного пальцев проехать вниз по струне.

Поворачиваюсь спиной к гостинице и рассматриваю тополя на бульваре. В отличие от дома, они устояли. Если не оборачиваться, можно думать, что за спиной по-прежнему мой дом. Что меня сейчас, например, позовут ужинать. Или вынесут теплый свитер – потому что вечер. Нет, не выносят. Никто меня не окликает – что-то пошло не так. Звонит мобильный, высвечивается: *Мама*. Из своего далека, как из небытия. Голос глух, перебивается треском в трубке.

– Глеба, как ты?

– Слава богу, что ты позвонила. Слава богу...

Вхожу в холл гостиницы. Меня узнают, собирается толпа. Прибежавшему гостиничному начальству сообщаю, что когда-то здесь жил. Начальство кивает из вежливости, хотя (ему это странно) ничего подобного не помнит. Это тем более странно, что обычно такого рода приезды они четко фиксируют.

– Вы меня не поняли, – говорю, – я жил в двухэтажном доме, который стоял на этом месте.

– Вот оно что, – удивляется начальство, – знаменательно. Где-то даже беспрецедентно.

– Дома уже нет, – продолжаю, – а адрес в памяти остался: бульвар Шевченко, 28, квартира

2. Как поводок собаки, которая давно околела.

Все сдержанно улыбаются. Служащим дорогих отелей не подобает смеяться во весь рот.

– Примечательное замечание. С любовью, что называется, к живой природе.

– В детстве мне очень хотелось иметь собаку. Очень, но не позволяли соседи. А теперь – не хочется.

1972

Хлопці ще нічого, а дівчата – дурні, сообщила на родительском собрании Леся Кирилловна. В качестве иллюстрации своей мысли изобразила Люсю Мироненко, которая думает о чем угодно, только не об уроке: подбородок на ладони, глаза лишены фокуса и вообще собраны где-то на лбу. А фамилию свою пишет через *e*: *Мероненко*. Мать Люси смущенно улыбалась. Заметив улыбку на лице другой матери, Леся Кирилловна переключилась на нее: а Сидорова пишет: *домашня ропопа*. Ропопа – просто блиск!⁸ Все знали, что Сидорову дома порют, так что описку можно было бы объяснить по Фрейду, но с этим автором в семидесятые годы не был знаком никто – ни Сидорова, ни родители, ни даже Леся Кирилловна. Если говорить о Сидоровой, то жизненный опыт привел ее к двум простым выводам: в школе ей нравится, а дома нет. И это, в сущности, было объяснимо. Что касается Глеба, то ему больше нравилось в музыкальной школе. Теперь, когда он освоил технические азы игры на домре, они с Верой Михайловной стали думать об эстетической стороне дела. Играй с нюансами, не уставала повторять ученику Вера Михайловна. Само слово *нюанс* Глеба завораживало. Оно было таким выразительным, таким утонченным, что не требовало уточнений. Играть с нюансами стало любимым занятием юного домриста. Увлекаясь, он, случалось, ставил пальцы не туда или ударял не по тем струнам, и тогда Вера Михайловна кричала: *лажа!* Но в крике ее чувствовалось понимание того, что технический брак возник как вынужденная жертва во имя красоты. Исполнитель знал, что лажа ему простится, в то время как отсутствие нюансов – никогда. Может быть, за это Глеб и любил музыкальную школу. Впрочем, он любил не только ее. Глебу, в отличие от Сидоровой, не знавшему порки, нравилось и дома, в коммуналке. Там всё было проще, чем в музыкальной школе, и по части нюансов – скромнее, но это был любимый дом, который не способна была заменить никакая школа. В квартире, помимо Глеба, мамы и бабушки, жили еще три семьи. Фамилии их значились под дверным звонком с указанием, кому сколько раз звонить. Эти фамилии встречали мальчика всякий день, и даже тогда, когда не стало уже ни соседей, ни самого дома, Глеб твердо помнил, что Пшебышевским следовало звонить один раз, Яновским – два, Колбушковым – три и Винниченко – четыре. Колбушковым и Винниченко не звонил никто, потому что гостей они не принимали. Вместо закрепленных за ними трех и четырех звонков можно было бы назначать и тридцать, и сорок – они бы никого не беспокоили. Но один и два звонка в Глебовых ушах засели крепко. По их громкости и длительности мальчик без труда определял звонивших. Оказалось, что дать даже один звонок (и здесь начинались настоящие нюансы) можно с безграничным разнообразием. Например, мгновенным касанием кнопки – и тогда звонок напоминал твяканье щенка. Можно было позвонить, не слишком на кнопку нажимая, – и в тоне звонка появлялась робость. Когда же, наоборот, нажимали до белизны в пальце – раздавался полный треска скандальный звук. Два коротких звонка отсылали слушателя к воздушному стаккато, два длинных рождали мысль о бомбоубежище. Это была отличная тренировка по *длительности нот* – любимой теме Клещука. Начиная со второго класса Клещук порой заходил к Глебу после уроков. Его короткие прикосновения к кнопке звонка давали две образцовые восьмушки. Вообще говоря, старая, пятидесятих годов, кнопка обладала выразительностью скрипки, и оттого весь спектр ее возможностей использовал только Федор – когда бывал навеселе. По особенностям его звонка можно было сразу определить количество выпитого. Но звучал не только звонок, имелась еще дверь, у которой был свой диапазон: от тихого щелканья язычка в замке (утренний выход на работу) до ураганного удара с сотрясением обеих створок в вечернее время. Такие удары обычно сопровождали бурный уход или бурное возвращение. Последнее было редкостью, потому что, проведя какое-

⁸ Блеск.

то время во внешней среде, человек успевал остыть. Этим человеком был дядя Коля Колбушков. Собственно, и выходил-то он редко – предпочитал выгонять из комнаты жену Катерину. В таких случаях, свернувшись калачиком на большом покрытом ковром сундуке, она укладывалась спать в прихожей. Среди ночи несколько раз подходила к двери своей комнаты и сдавленным голосом просила: Микола,пусти! Из-за двери следовал короткий тяжелый мат. Иногда – если Микола выходил в прихожую – глухой удар: весь звук поглощало богатое тело Катерины. Один раз на глазах у соседей он запустил в Катерину ножовкой, которая вонзилась в дверь Глеба и некоторое время раскачивалась с короткой грустной мелодией. Глебу даже показалось, что доминировала там малая секста, на которой построена, скажем, *История любви* Франсиса Лея (до-ми-ми-до-до и т. д.). Евдокия Винниченко вызвала милицию, но дело кончилось ничем: инструмент, оказавшийся музыкальным, дядя Коля успел забрать, а Катерина обвинений не выдвинула. Другого от дяди-Колиной жены и не ждали: в конце концов, *История любви* звучала для нее. Сама по себе Катерина была не робкого десятка и – нужно отдать ей должное – не упускала возможности оспорить мужа. Чаще всего это случалось, когда фронтовик дядя Коля, приняв после заводской смены на грудь, выходил в майке во двор, садился за стол под кривой маслиной и беседовал с населением. Над столом висела на проводе лампа, так что общение могло продолжаться и в темноте. В правой руке дядя Коля держал пачку *Беломора*, а в левой – спички, прижав их к ладони мизинцем и безымянным пальцем. Эти два пальца у него были постоянно согнуты: в них находились спички, которые извлекались по мере необходимости. Закурив папироску, дядя Коля рассказывал о том, как он, вчерашний воронежский крестьянин, шел в первых рядах освобождавших Киев. Кто йшов у перших рядах – тих вже нема, звучало неизменное разоблачение Катерины, которой только что поблизости вроде бы не было. Расправа не заставляла себя ждать. Если женщина находилась в пределах досягаемости, дядя Коля наносил ей смачный удар, если нет – ограничивался затейливым матом. После мгновенной вспышки ярости дядя Коля так же мгновенно успокаивался. Уже через минуту дым его папиросы уютно обволакивал горевшую лампу и исчезал в темных ветвях маслины. Рассказ о боевых буднях продолжался. Ничто его не могло остановить – даже вмешательства Катерины, которые для всех оставались загадкой. Тяга к истине в этой женщине сочеталась со вкусом к страданию, поскольку, видимо, и в жизни одно сопряжено с другим. Возможно, ей не хватало чувства со стороны постаревшего дяди Коли, и она пыталась привлечь это чувство к себе, как корректировщик огня, отчаявшись, вызывает на себя последний залп. Здесь был важен не характер чувства, а его сила. Через много лет, когда коммуналку начали расселять районные власти, знающие люди советовали супругам временно развестись. Тогда они получили бы две однокомнатные квартиры вместо одной, а потом смогли бы одну из них продать или, скажем, обменять свои квартиры на двухкомнатную. И снова зарегистрировать брак. Противником хитроумного проекта оказалась Катерина: она отказалась разводиться, даже фиктивно. Боялась, что второй раз ее Микола на ней уже не женится. К слову, свадеб в квартире Глеб не видел ни разу, зато однажды видел похороны. Это случилось, когда умерла соседка Евдокия Винниченко. Несмотря на звучное имя, была Евдокия ничем не примечательным человеком. Единственная ее особенность состояла, пожалуй, в том, что она никогда не покидала квартиры. Все обязанности вне дома, включая магазины, лежали на ее муже Сильвестре. Никто не видел Евдокию в уличной одежде – на ней всегда был цветастый байковый халат и меховые тапки. Тихо ходила, тихо говорила, а чаще молчала. С Сильвестром они почти не разговаривали. Общались кое-как жестами, взглядами, но слов попусту не тратили. Вероятно, потому у них и не было детей, потому что как же можно зачать их в таком молчании? Молчание Сильвестра было столь глубоким, что, казалось, у него исчез голос. В конце концов исчез и сам Сильвестр. Никаких объяснений случившемуся Евдокия не давала. Может быть, их у нее и не было. На вопросы о местонахождении Сильвестра она коротко отвечала: щез. Жизнь ее после этого события никак не изменилась. Удивительно, но она так и не стала выходить на улицу – по край-

ней мере, так казалось Глебу. В его представлении она принадлежала к людям, окончательно связанным с определенным местом. Место Евдокии было у кухонного стола. Она проводила там больше времени, чем в собственной комнате; что-то мыла, чистила, перекладывала с места на место – с левого края стола на правый и наоборот. Прodelывала это странным манером – отрывая одну ногу от пола и балансируя на другой. Сама Евдокия при этом раскачивалась, напоминая то ли ваньку-встаньку, то ли балетную танцовщицу. Скорее, наверное, танцовщицу. Наблюдая однажды за Евдокией из-под своего стола, ей невидимый, Глеб заметил, что опорная ее нога красиво, как-то даже по-балетному сгибалась. Из уст ее едва слышно лилась грустная и прекрасная мелодия. Никаких сомнений не оставалось: Евдокия танцевала. Глебу очень хотелось спросить, что именно пела Евдокия, но даже ребенком он понимал, что, если дама пенсионного возраста танцует и поет, лучше сделать вид, что ты ничего не заметил, и уж во всяком случае ничего не спрашивать. Эту мелодию мальчик узнал в день похорон Евдокии – ее исполнял духовой оркестр. Музыка дышала и на каждом вдохе сопровождалась ударом тарелок и барабана. Это делало ее надрывной, трагичной – в ней уже не было той светлой грусти, какая слышалась в тихом исполнении. Глеб спросил у отца, пришедшего проводить Евдокию в последний путь, что это за мелодия. Це соната для фортеп'яно номер два Шопена, ответил отец, частина третя – траурний марш. Евдокия пела это при жизни, удивился Глеб. Це є свідченням⁹ того, що вона мріяла¹⁰ померти, сказав Федор. Разве так бывает, спросил мальчик. Федор внимательно посмотрел на сына: людина звичайно¹¹ співає про те, про що вона мріє.

28-31.08.12, Петербург

Гастроли в Петербурге. По дороге из аэропорта останавливаю машину у книжного магазина и посылаю шофера купить все имеющиеся книги Нестора. Тот возвращается с двумя. Было еще пять других, но они раскуплены. Думаю, что достаточно двух.

В гостинице принимаю душ и распаковываю чемодан. Робко постучав, горничная ввозит в номер тележку с *Вдовой Клико* и фруктами, это подарок от заведения. Девушка краснеет и просит автограф. Доставая чаевые, натыкаюсь на визитку Нестора. Кладу у телефона. Набрал первые цифры, нажимаю на рычаг.

Достаю из пакета купленные книги и бегло их просматриваю. *Воздухоплаватель*, в полном согласии с названием, об истории воздухоплавания в России. Несовершенные летательные аппараты и самоотверженные авиаторы. Меховые куртки, кожаные шлемы, очки-консервы. Полный, кажется, каталог монопланов и бипланов. Я список кораблей... На любителя.

Есть вещи поважнее укола. Шершавым языком аннотации читателю сообщают, что это – история медсестры, ставшей главврачом. Взлеты и падения. Отношения с пациентами и персоналом лечебного учреждения, непростые больничные будни, где любовь соседствует со смертью. Открываю книгу наугад – короткие рубленные предложения, точные описания. Мне нравится этот ритм, а главное – взгляд. Взлеты и падения... Судя по теме, и в первой книге тоже про падения. Что-то мне это напоминает. Есть вещи поважнее музыки...

Визитка у телефона. А зачем, спрашивается, звонить? У меня в Петербурге три концерта – три вечера подряд. Уверен, что на одном из них появится Нестор.

Не появляется. В последний вечер, после концерта, все-таки звоню Нестору. Под длинные гудки в трубке рисую на визитной карточке квадраты. Когда уже собираюсь повесить трубку, на том конце провода отвечают. Нестор очень рад звонку, он ничего не знал о гастролях. Рисую на визитке жирный восклицательный знак.

⁹ (Является) свидетельством.

¹⁰ Мечтала.

¹¹ Обычно.

Нестор предлагает встретиться на следующий день, но у меня утром самолет. Тогда – немедленно. Нестор считает, что нужно встречаться немедленно. Они с женой Никой приглашают меня к себе. Я еще изображаю неуверенность, но внутренне, пожалуй, готов. Мысль о том, что сейчас я войду в чей-то ночной уют, наполняет радостью.

Нестор диктует адрес. Он собирается еще выскочить за водкой. И вот еще, Ника просит, чтобы гость захватил гитару. Рапортую, что будет сделано, и ставлю на визитке второй восклицательный знак. Вызываю машину, беру гитару. Подойдя к двери, замечаю привезенную горничной тележку – ее обновляют каждый день. *Вдова Клико* и фрукты отправляются в книжный пакет.

Нестор живет на Большом проспекте Петроградской стороны. Ехать туда от гостиницы ровным счетом десять минут. Когда я выхожу из машины, Нестор как раз возвращается из магазина. Мы вместе поднимаемся в квартиру, где нас встречает Ника, дама с низким прокурорным голосом. Мы с Нестором и Никой, судя по всему, одногодки или очень близки по возрасту. С такими людьми обычно чувствуешь себя легко.

На кухне накрыт стол. Сыр, колбаса, шпроты, водка. Перед тем как сесть, Ника показывает квартиру писателя. Всё как положено: забитые до предела книжные полки (мужу дарят много книг, мы же их давно не покупаем), где вертикальная расстановка соседствует с горизонтальной. Помимо книг на полках непонятным образом находится место для массы безделушек. Книги на столах, на кроватях, на полу, на микроволновке и стиральной машине (писатель любит читать в ванной). Ника называет Нестора писателем и очень им гордится.

Вдова Клико укладывается в морозилку, но на нее здесь, кажется, никто особенно не претендует. Всем, включая жену, Нестор наливает водки, и у Ники это не вызывает протеста. Пьем за знакомство. Нестор подробно рассказывает Нике, как оно начиналось. Разговор в самолете описывает в лицах. Показывает, как я ему отвечал через губу, как не глядя прятал его визитку. Аплодирую Нестору.

– Неужели это я?

Зажмурив глаза, Нестор трясет головой.

– Это взгляд со стороны, – успокаивает меня Ника. – Я бы ему не доверяла.

– А я и не доверяю. – Выпиваю налитую мне стопку. – Но я хочу сказать, что ваш писатель очень даже ничего. Нормальный писатель.

У Ники звонит телефон. Зажав трубку ладонью, она сообщает, что это сын. Зажигает сигарету и идет разговаривать в коридор.

– Сын живет не с вами? – спрашиваю.

– Живет здесь недалеко. – Нестор тоже закуривает. – А я ведь уже начал писать... Вы действительно соглашаетесь на книгу? Это же тоже взгляд со стороны.

Из коридора доносятся три решительных *нет*.

– Я так долго смотрел на себя изнутри...

С четвертым *нет* появляется Ника.

– Иди в жопу, – шепчет она, отключив телефон. Садится за стол. – Простите, воспитательный момент. – Мне: – У вас есть дети?

– Нет.

Раздается звонок – теперь это телефон Нестора. После короткого сухого приветствия звучит еще одно *нет*. К этому слову здесь имеют вкус. Звонок Нестор оставляет без объяснений. Тема детей не возобновляется, потому что Ника произносит тост:

– За сотрудничество!

Все пьют.

– Мы как раз выясняли... – голос Нестора, как человека еще не закусившего, звучит сдавленно. – Мы выясняли, насколько серьезно Глеб относится к этому предприятию.

– И насколько? – спрашивает Ника. – Знаете, я ведь сама удивилась: вы так здорово всё рассказываете о жизни своей музыкой, зачем вам его слова? – она кивает на мужа.

Беру из Несторовой пачки сигарету. Нестор подносит мне огонь.

– Трудно объяснить. Я думаю, музыка... да и живопись, наверное... В конечном счете они существуют только потому, что существует слово.

Ника кивает на лежащую в футляре гитару.

– Сыграете?

Предлагаю всем перейти на *ты*. Достая гитару и несколько минут подтягиваю струны. Ника показывает мужу на пустые стопки.

– А я вот испытываю страх перед границей слова. – Нестор берется было за бутылку, но опять ставит ее на место. – Знаешь, там, где кончается слово, начинается музыка. Или, ну да, живопись. Или вообще молчание...

Начинаю играть песню *Вже сонце низенько* – сначала тему, затем вариации. Негромко напеваю. Слова зрителям ясны не все, но понятно, что песня грустная. Ночь. К девушке приходит возлюбленный. Она его, впуская, *за ручку стискала*. А как выпускала – *правдоньки питала*. Голос и струны входят в резонанс. *Чи ти ж мене любиш?* – спрашивает она. А может, спрашивает, ходишь к другой и не признаёшься? Нет, отвечает, люблю, *тільки признаюся, що брати не буду*. Гитарное соло. Пиццикато на верхних нотах – у самого начала грифа. *Ой, Боже ж мій, Боже...* Понятно, что всё он ей рассказывает. Высота звука переходит в высоту страдания. Утончается до полной неслышимости, потому что у горя нет выражения. И пальцы уже неподвижны, а музыка всё льется.

Уезжаю под утро. На пороге Нестор крепко меня обнимает, сверху ложатся руки Ники. Так мы стоим втроем перед открытой дверью, ощущая спинами ночную еще прохладу. Деликатно потупясь, мимо проходит сосед с удочкой. У подъезда меня уже ждет машина.

1972

Вскоре после похорон Евдокии Глеб еще раз услышал тарелки и барабан. Это было в оперном театре, куда бабушка повела его слушать *Евгения Онегина*. Первым, что его поразило, было то, как разыгрывался оркестр. Огромный зал, полный обломков мелодий. Грандиозная свалка звуков, навсегда, казалось, освободившихся от музыки и создавших новую общность. Но так ведь только казалось. В потемневшем и замершем зале их собрал воедино первый же взмах дирижерской палочки. И Глеб зарыдал – от этой гармонии, от неслыханной прежде полноты и силы звучания, от того, что, погрузившись в темноту, зал медленно взлетел, и он был причастен к этому полету. Начиналось невероятное путешествие для избранных – тех, кто отважился сидеть в темном зале. Мальчик рыдал, зажав рот рукой, хотя и так никто его из-за громкой музыки не слышал, и в темноте не видно было вздрагивания его плеч. Глеб с бабушкой сидели в ложе первого яруса, а двумя ярусами выше на полу лежал Сергей Петрович Броварник, преподаватель общего фортепиано в музыкальной школе Глеба. Сергей Петрович считал, что музыку надо слушать, отключившись не только от окружающего мира, но даже от собственного тела. Приходил в театр с простыней и расстилал ее на полу – там, где кончались ряды кресел. Ложился на простыню и закрывал глаза. Не пропускал ни одного оперного спектакля. Пристрастившись к опере, Глеб частенько видел Сергея Петровича в театре. Один раз, когда Антонина Павловна с внуком сидели на третьем ярусе (давали *Ивана Сусанина*), Сергей Петрович лежал прямо за ними. Время от времени снизу слышались приглушенные вздохи, и зрители, не искушенные в способах восприятия музыки, тревожно вглядывались в темноту за креслами. В памяти Глеба Сергей Петрович остался примером истинной преданности музыке. Что до *Ивана Сусанина*, то опера мальчику понравилась, но с *Евгением Онегиным* ее было не сравнить. Перекрывая разноголосицу, Ленский предельно четок: *Просто я требую, чтоб господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его принять мой вызов!* Ох, как это было жестко – в *Иване Сусанине*, несмотря на весь трагизм, ничего похожего. Особенно вот это *просто...* И крик хозяйки дома *О, Боже!*, музыкально повторяющий возглас *...мой вызов!*. Плюс, конечно, слово *господин*, которое Глебу нравилось безмерно – такое изысканное на фоне нечесаных, с несвежим запахом *товарищей*. Особая статья – исполненный аристократизма цилиндр вместо потертой, здрасте-пожалста, кепки. И все-таки главной и быющей наповал была в глазах Глеба сцена дуэли. Эту сцену они бесконечно разыгрывали с Клещуком, которого, оказывается, родители тоже водили на *Евгения Онегина*. Клещук-Ленский медленно оседал на пол после выстрела Глеба-Онегина. Толстый Клещук делал это неловко и неестественно, и Глебу всякий раз приходилось показывать ему, как обычно падают после выстрела. Глеб делал это не без удовольствия – как артист и как педагог. Несмотря на все усилия, прогресс был незначителен. Клещук осторожничал, несколько раз успевал посмотреть себе под ноги, хотя что, собственно, ожидал он увидеть на начищенном до блеска паркете? Наставляя Клещука, Глеб, однако, старался не перегибать палку. Он знал, что происходит из избыточного нажима на людей, и не хотел портить впечатление от *Евгения Онегина*, который стал главной радостью его первого учебного года. Полнота этой радости достигалась тем, что начиная с зимы мальчик смог слушать оперу на пластинке. Мама и бабушка, долго совещавшиеся по вечерам, к Новому году преподнесли Глебу проигрыватель. К дорогой покупке был привлечен и Федор, нашедший, несмотря на безденежье, недостающие 20 рублей. К проигрывателю прилагалась картонная коробка, в которой лежало три пластинки: это был *Евгений Онегин*. И хотя впоследствии покупались и другие пластинки, Глеб слушал почти исключительно *Онегина*. Через пару месяцев он знал на память все арии. На семейных торжествах мальчик, по просьбе гостей, пел их подряд и вразбивку – с чувством, хотя, по словам приглашенного однажды отца, и не без фальши. Мать, возмущившись, возразила, что дело здесь не в том, как

ребенок поет арии, а в том, что он их *поет*, что, вместо того чтобы поддержать его, отец говорит всякую ерунду. Фальш – то не ерунда, пробормотал Федор, но в спор вступать не стал. Глеб сделал вид, что к диалогу не прислушивался, но в душе был уязвлен. Ему очень хотелось произвести впечатление на отца. Не получилось. Зато он производил впечатление на других – например, на одноклассников. Хотя и не на всех. Так, Бджилка, знавший волшебное слово *очерет*, исполнением арий не впечатлялся. Он призывал Глеба петь народные песни и даже спел одну – *Ой, у гаю при Дунаю* – из тех, что особенно любили в его селе. Песня была красивой (украинские песни сказочно красивы), но это не заставило Глеба сменить репертуар. Он продолжал петь свои арии под насмешливым взглядом Бджилки. Между тем тот задавал вопросы, на которые у Глеба не всегда находился ответ. Слушая в исполнении Глеба арию Ленского, Бджилка спрашивал, что такое денница (*блеснет завтра луч денницы*), почему лето медленное (*и память юного поэта поглотит медленная Лета*), а урна – ранняя (*слезу пролить над ранней урной*). На улице он, бывало, становился над урной и начинал собирать в ладонь воображаемые слезы. Впрочем, по части смеха Бджилка не мог сравниться с Глебом. С ним и другим одноклассником, Витей Кислицыным. Глеба с Кислицыным называли смехачами, потому что они постоянно хохотали. Посмотрят на проходящего завхоза (косой, губы толстые) – смеются, посмотрят на собаку (одно ухо стоячее, другое висит) – тоже смеются. На кого ни посмотрят – смеются, потому что в каждом есть смешное, для этого только нужен глаз. Глаз и компания, ведь не будешь же смеяться в одиночку. Шла как-то по коридору учительница английского, длинная как жердь, руки-ноги – как лезвия складного ножика. Строго шла: печатала шаг, голова откинута назад. Ирина Григорьевна. Глеб с Кислицыным засмеялись. Ирина же Григорьевна пожаловалась Лесе Кирилловне. На ближайшем своем уроке Лесья Кирилловна, человек не улыбочивый, вызвала Кислицына к доске. Не говоря худого слова, подняла учащегося за шиворот (тихое покачивание ног) и предложила: *смійся!* Кислицын не засмеялся – очевидно, это трудно делать на вису. Получилось ровно наоборот: по его щекам покатались слёзы. Глеб понимал, что сейчас, скорее всего, вызовут его, и ему стало страшно. Страшно и смешно – так бывает. Он бросил взгляд на висящего товарища, но ответного взгляда не получил: Кислицын и не думал переглядываться, смотрел в потолок. Глеб впервые заметил, что у Кислицына невероятно большая голова, под которой болталось маленькое тело. Его друг напоминал восьмушку на верхней линии нотного стана – ту, у которой мачта с хвостиком уходит вниз. *Ре*, по всей видимости. Или *фа*. Этой мысли Глеб улыбнулся, и теперь уже трудно было представить, какое наказание ожидает его. Но, поставив Кислицына на пол, неожиданно улыбнулась и Лесья Кирилловна – впервые, может быть, за год. Что-то ее проняло – то ли слёзы Кислицына, то ли улыбка Глеба. Во рту Леси Кирилловны оказалось довольно много золотых зубов. Ее улыбку Глеб расценил как ослепительную и удивился, что обладательница такого богатства до сих пор не улыбалась. Собственно, не очень-то она улыбалась и впоследствии – кроме одного странного случая, о котором Глебу рассказала Плачинда, продолжавшая наблюдение за Лесей Кирилловной. В этот раз, сев за парту Кислицына, учительница робко улыбнулась – изображая, очевидно, улыбку учащегося. Затем, вернувшись за свой стол, она рассмеялась с той брутальностью, перед которой все ее прежние ругательства померкли. Лесья Кирилловна оторвала воображаемого Кислицына от пола и потребовала: *смійся!* Но живой Кислицын уже не смеялся. После висения у доски он, можно сказать, так и не оправился. Порой еще улыбался, но улыбка его то и дело переходила в слёзы. Может быть, поэтому об увиденном Плачинда рассказала не ему, а Глебу. Что же касается Глеба, то ему тоже досталось, хотя и несколько иным образом. Лесья Кирилловна, видя, как Глеб смеется, однажды посоветовала ему спрятать его *конячі зуби*. С точки зрения педагогики этот совет, возможно, вызывал вопросы, но по меткости сравнения бил в самую точку. К середине второго класса верхние зубы Глеба заметно выдвинулись вперед и стали именно такими, как их описала учительница. Единственным преимуществом неправильно выросших зубов стали их акустические свойства. Щелкая по зубам

ногтями больших пальцев, Глеб научился виртуозно исполнять *Воздушную кукурузу* Гершона Кингсли. Он умел играть и кое-что другое, но с дробной, будто на ксилофоне сыгранной мелодией сравниться не могло ничто. После учительской фразы удивительный дар Глеба был забыт в одночасье. Сказанное Лесей Кирилловной в классе повторяли все. Особенно веселился Кислицын, не желавший смириться с тем, что висеть ему пришлось одному. Слушая, как новая дразнилка повторяется на разные лады, Глеб удивлялся тому, какие дети все-таки жестокие существа. Почему, думалось Глебу, их (нас) считают ангелоподобными? Единственным человеком, выразившим Глебу сочувствие, оказался Бджилка. Высказывание Леси Кирилловны он благоразумно не комментировал, зато дал совет по сути. Ти зуби зализуй, і вони випрямляться, сказал он Глебу и даже показал, как это делается. Язык Бджилки – неожиданно длинный и ловкий – свободно перемещался по внешней стороне зубов. В какой-то момент показалось даже, что его язык прочно цепляется за передние зубы и с силой тащит их назад. И хотя при внимательном рассмотрении обнаружилось, что зубы Бджилки остались в прежней позиции, сила его убеждения была так велика, что несколько дней Глеб и в самом деле зализывал зубы. Безрезультатно. Нет, не совсем так: результат выразился в том, что проблему осознала бабушка. Она повела Глеба к зубному врачу. Еще не усадив мальчика в зубо врачебное кресло, врач сказал, что ему нужна пластинка. Глеб с тоской подумал, что его неправильный прикус виден уже с порога. Чтобы не терять времени, мерку для пластинки решили снять тут же. Медсестра взяла металлическую форму и наполнила влажным гипсом. Врач засунул ее глубоко в рот Глеба, велел прикусить как можно сильнее. Нижними зубами мальчик ощущал металл, а верхние вязли в слабо, но дурно пахнущей массе. Ему казалось, что эта масса умножается, что скоро она забьет ему горло и он не сможет дышать. Его начало мутить. Он старался держаться, говорил себе, что через мгновение всё кончится, но ничего не кончалось. Мутными волнами накатывал страх оттого, что если его начнет рвать, то рвоте выходить будет некуда. Его вырвало через секунду после того, как форму с застывшим гипсом вынули из рта. Когда через пару недель пластинка была готова и Глеб надел ее в первый раз, его снова вырвало. Пластмассовое нёбо противно выглядело, противно касалось нёба настоящего и с противным же звуком от нёба отлипало. Единственной более или менее приемлемой частью изделия была двойная проволока, которой захватывались отклонившиеся от нужного положения зубы. При касании ногтем проволока тихо, но мелодично звучала. Она одна и примиряла мальчика с процессом исправления зубов. Сторонний наблюдатель видел только ее, не подозревая об отвратительной в своей физиологичности конструкции, на которой держалась эта хрупкая деталь. Иногда терпение Глеба заканчивалось. Осмотревшись по сторонам, он вытаскивал пластинку из рта и клал в парту. Искренне (а может, и не очень) забывал ее там. Как бы то ни было, на следующее утро он неизменно получал пластинку от Леси Кирилловны и под ее строгим взглядом вставлял в рот. Глеб носил пластинку почти год, и – кто бы мог подумать! – зубы исправились. Теперь они были крупными и ровными, что, несомненно, составляет красоту мужских зубов. Не обошлось, однако, без утрат: выровнявшись, зубы отчего-то потеряли свои музыкальные свойства. *Воздушная кукуруза* на них больше не звучала. Зато как звучала его домра! Мало-помалу всем становилось ясно, что мальчик обладает большими способностями, потому что никто, кроме него, не был в состоянии так впечатляюще играть с нюансами. Его порой подвигала техника, он не всегда выдерживал темп, но по части нюансов равных ему не было. Именно они сделали Глеба гордостью музыкальной школы. Да, слух его был по-прежнему далек от абсолютного, но не на скрипке же, в конце концов, он играл! Строго говоря, нынешняя домра Глеба и была уже почти скрипкой: видя успехи ученика, Вера Михайловна предоставила ему для занятий собственный инструмент. Это была заказная домра, выполненная из кавказской пихты. Для ношения ее Глебу был выдан коричневый футляр, заказанный в свое время вместе с домрой. Мальчика завораживал ее бархатистый звук, он любовался янтарными разводами старого дерева. Его радовало всё – кроме футляра, потому что футляр напоминал ему

гроб. Всякий раз, когда Глеб его открывал, домра виделась ему широкобедрой красавицей, принесенной не из музыкальной школы, а с кладбища Берковцы – тогда еще пустынного, но уже огромного. Укладывая же домру в футляр, он представлял ее потерянной возлюбленной, навсегда увозимой на кладбище. Этот футляр отравлял ему жизнь.

15.09.12, Мюнхен

Дом на улице Ам Блютенринг. В вечернем окне отражаемся мы с Катариной. Катей. Я сижу за письменным столом, а Катя стоит сзади, положив мне руку на плечо. На столе горит лампа, и в ее желтом свете отражение в окне сказочно красиво. Окрашенные лампой, мы напминаем себе старую фотографию и смотримся слегка посмертно. Собственно, в гостиной висит картина с такой же композицией (включая отражение), но мы предпочитаем воссоздавать ее ежевечерне. Ценим детали – поворот головы, изгиб руки, положение пальцев на плече.

– Тебе уже давно пора проверить руку, – говорит Катя.

– Пора.

В малахитовом письменном приборе нахожу зажигалку и щелкаю. В окне появляется еще одна светлая точка.

– Барбара поможет. Она договорится у себя в клинике.

– Давай уж как-нибудь без Барбары.

Катя касается губами моей макушки и грустно выдыхает. Я чувствую, как по волосам разливается тепло. Меня раздражает, что по любому поводу всплывает ее сестра Барбара. Высокая рыжая немка с громким голосом. У нее всё чрезмерно: голос, смех, движения. Она к тому же любит выпить.

Спустя час, как по заказу, приходит Барбара, уже навеселе. Мне нужно срочно ответить на несколько писем, и я ухожу в другую комнату. Вернувшись, вижу Катю и Барбару за бутылкой водки. Называю их интерес к алкоголю нездоровым. Катя, оправдываясь, начинает говорить о каком-то сегодняшнем поводе, но ее перебивает Барбара.

– Повод, друг мой, один: отсутствие детей. И всё, что нам остается, – это проявлять интерес к алкоголю. И плакать. – Она вытирает платком глаза. – Мокрыми слезами.

С Катей мы говорим по-русски. С Барбарой так не получается. Перейдя на немецкий, я обретаю решительность. Водку выливаю в раковину, а пьяную Барбару, несмотря на ее размеры, отрываю от пола и несу на диван. Она называет меня брутальным русским типом, но эта брутальность ей, в общем, по душе. На диване Барбара оказывает некоторое сопротивление. Смирная женщину, сажусь на нее верхом и сообщаю ей, что она пьяница. Что они обе пьяницы.

– Возможно, – отвечает Барбара. – Но посмотри зато, *что* мы пьем: чисто русский напиток. Потому что, даже проявляя нездоровые интересы, хотим произвести на тебя благоприятное впечатление.

– У вас это всё равно не получится.

Барбара, сестре:

– Похоже, его сердца мы так не завоюем. А жаль...

Катя вздыхает.

– Увы. Но, может быть, – она поднимает указательный палец, – может быть! – мы завоюем сердце русского писателя, который к нам приезжает.

Взгляд Барбары полон удивления.

– Русский писатель?

– Его зовут Нестор. – Катя гладит себя по воображаемой бороде. – Он будет писать о Глебе книгу.

– Уже пишет, – говорю сердито.

– Уже пишет! – Барбара всплескивает руками. – Как это своевременно!

– Мы договорились, что раз в два-три месяца Глеб будет присылать ему билеты, и Нестор сможет прилетать к нам. Они будут заниматься книгой. – Указательными пальцами Катя рисует книгу в воздухе.

– К нам сможет прилетать русский писатель! – Барбара съезжает на пол и прислоняется спиной к дивану. Делает несколько журавлиных взмахов. – Это замечательно! Это просто даже прекрасно, когда может прилетать русский писатель!

1973

Летом Глеб с Антониной Павловной ездили в Керчь. Жили у бабушкиных друзей в Кооперативном переулке. Два кооперативных *о* в восприятии Глеба соединялись с гулкостью парадного. И с прохладой, когдаходишь с раскаленной улицы. Эти два *о* были тем более раскатисты, что звучали как два *а* – у всех, кроме бабушки. Антонина Павловна по-вологодски произносила их как два *о*. Кооперативный переулок соединялся с уходившей вправо улицей Ленина – над ней сплетались старые акации. А слева была большая площадь (тоже, кажется, Ленина: там стояло его приземистое изваяние) с городским театром и универмагом *Чайка*. За площадью шла одноэтажная тенистая улочка, которая выводила к морю. Это было первое виденное Глебом море – полное рыболовецких судов, нетуристическое и даже, как выяснилось, некупальное: через пару лет городской пляж закрыли из-за облюбовавшей его холерной палочки. Но в то замечательное время пляж находился еще в центре города, и прийти туда можно было прямо с набережной. Разделяла пляж и набережную каменная балюстрада, тянувшаяся на всем протяжении пляжной линии. Над балюстрадой возвышалась беседка, тоже каменная. Царство камня. Вода плескалась о бетонный берег. По бетонным лестницам купальщики спускались в воду. Держались за металлические поручни, потому что ступени были скользкими – все в зеленых водорослях, повторявших ритм волн. Глеб знал, каким разным бывает этот ритм, как резко он меняется: за частой дробью бриза вдруг приходит медленная сила больших волн, и море гудит как гигантский раскачавшийся колокол. В штормовые дни, когда нельзя было купаться, Глеб с бабушкой стояли на присыпанных песком плитах пляжа и смотрели, как вслед за ударом волны о бетон к небу взмывали тысячи хрустальных гирлянд. Но такое случалось редко: обычно море было спокойно. Они (бабушка первая) осторожно спускались по ступеням. Дно было пологим, и не умеющий плавать Глеб первые дни пытался по нему ходить. Далеко уйти не получалось: всё донное пространство было усеяно большими и малыми камнями. А поскольку и без камней перемещение в воде затруднительно, Глеб в конце концов предпочел стоять. Раскинув руки, балансировать, покачиваться вместе с водой, а иногда и шлепать по ней ладонями. От неподвижности порой становилось холодно. Увидев Глебовы синие губы, Антонина Павловна выводила внука на берег и растирала махровым полотенцем. Но даже растирание не согревало его до конца: гусиная кожа исчезала только после нескольких минут лежания на подстилке. Подстилкой служила скатерть с бахромой, которую бабушкины друзья давали им с собой на пляж. Уткнувшись в нее носом, Глеб чувствовал запах нафталина, и это было так не похоже на всё, чем пах пляж. В той странной квартире, где они жили, нафталин был, вообще говоря, заметным, хотя и не единственным запахом. Он смешивался с запахом моря, который исходил от многочисленных диковинок: засушенных рыб, морских звезд и раковин. Еще пахло газом из баллона – даже тогда почему-то, когда плита была выключена. Это наводило бабушку на мысль о взрыве, но мысль эта была по-северному спокойной, в чем-то фаталистической. Свой вкус имела и вода из-под крана – точнее, она была удивительно невкусной. Использовать ее для чая казалось немыслимым, хотя местные жители использовали. Не думали, должно быть, что вода бывает другой. Но Антонина-то Павловна и Глеб приехали из иных краев и понимали толк в хорошей воде. Вместо чая они пили лимонад или минеральную воду. Остудив напитки в холодильнике, брали их с собой на прогулку. Гуляли на горе Митридат, где даже поздним вечером было жарко: камни отдавали полученное за день тепло. В высокой, почти уже выжженной траве то тут то там обнаруживались следы археологических раскопок. Бабушка с внуком смотрели на фрагменты лестниц и стен, пытаясь представить себе, как здесь жил Митридат. Из травы раздавался стрекот кузнечиков, в редких акациях его многократно усиливали цикады. Глебу казалось, что он слушает огромный играющий в унисон оркестр. Апофеоз пиления, торжество смычковых. Предельная пре-

данность музыке: инструментом является тело музыканта. Мысль об этой преданности поддерживала Глеба, когда осенью он вернулся в музыкальную школу. Он уверенно справлялся с этюдами, хотя нельзя сказать, что любил их. Мальчику были больше по душе мелодичные пьесы и народные песни, особенно те, что исполнялись медиатором на тремоло. Собственно говоря, медиатором на домре исполнялось всё. Глеб начал физически ощущать его продолжением своей руки, чем-то вроде пластмассового ногтя, росшего из большого и указательного пальцев одновременно. В самых любимых его пьесах медиатор сливался с пальцами без малейшего усилия и не выскальзывал из потной руки. Движение кисти было свободным и мощным одновременно – и тремоло выходило сочным и густым, ни на мгновение не распадалось на отдельные удары по струнам. Если прежде, слушая в исполнении Глеба классику, Федор только улыбался, то сейчас он всё чаще давал конкретные советы. Слушал его отец, понятное дело, в домашней обстановке, без фортепианного сопровождения. Мальчику же хотелось предстать перед отцом во всей своей музыкальной красе, и уж во всяком случае с аккомпанементом. Однажды такой шанс выдался: лучшие ученики музшколы приглашались для выступления в Пушкинский парк. Глебу предстояло исполнить *Турецкий марш* Моцарта – вещь для исполнения перед публикой беспроегрешная. Глеб, который обычно не робел перед слушателями, уже предвкушал, как, сопровождаемый их ритмичными хлопками, будет играть знаменитые моцартовские форшлаги. Торжество ритма было самой сутью *Турецкого марша* и проявлялось во всём, вплоть до того, как ветви плакучей ивы в такт музыке раскачивались на ветру. Этот ветер, как выяснилось, нес в себе и опасность. У Глеба замерзли пальцы. Как же по-разному устроены музыканты: одни спокойно играют на морозе, другие от небольшого ветерка теряют всякую подвижность в пальцах. Глеб – потерял. Он отстал от аккомпаниаторши на такт, и, хотя пару раз она пыталась его поймать, закончили играть они порознь. Эта картинка застыла в памяти Глеба навсегда: неплотно, в шахматном порядке, заполненные места на скамейках, грустные глаза отца в дальнем ряду и абсолютная невозможность играть. На открытых площадках он не выступал больше никогда. И еще. С этого дня Глеб надолго разлюбил *красивые* вещи – как будто моцартовский хит стал причиной его неудачи. Полюбил те, что на первый взгляд казались некрасивыми – например, этюды. Любовь эта была чувством особого рода – тягой к красоте через сложность, потому что в сложности есть своя красота. А еще он осознал, что по-настоящему полюбил домру. Если раньше этот маленький инструмент казался ему лишь ступенью на пути к гитаре, то сейчас он обрел самостоятельное значение. Домра напоминала Глебу улитку с вытянутой шеей, бросить которую было бы предательством. Учебу по классу домры было решено продолжить. И тогда отец сказал ему: зараз¹², синку, ти працюєш¹³ сім років¹⁴ за Лію, а потім працюватимеш¹⁵ сім років за Рахіль. Игре на народных инструментах обучали пять лет, но библейская параллель отца была Глебу понятна.

¹² Сейчас.

¹³ Работаешь.

¹⁴ Лет.

¹⁵ Будешь работать.

01.10.12, Мюнхен

Для работы над книгой прилетает Нестор. У меня будет четыре дня, свободных от гастролей. Это, конечно, не так много, но для первого раза достаточно. С табличкой *Nestor* в аэропорту его встречает наша домоправительница Геральдина Кестнер, сорокалетняя сухошавая дама.

Разговор в пути, должно быть, не клеится: Нестор не знает немецкого, а английский Геральдины *is very limited*. Она сообщает это, не отрывая взгляда от дороги. Сдержанно, я думаю, улыбается. Дальнейшие сообщения Нестору менее вняты, ясно лишь, что Яновских сейчас нет дома. Они на *dacha* в горах, поясняет Геральдина, но к обеду вернутся. Может быть, уже вернулись.

У самого дома в хвост им пристраивается машина и сигнализирует трелью. Это мы с Катей. Глядя в зеркало заднего вида, Геральдина отвечает строгим коротким сигналом. Она отдает себе отчет в том, что ее должность не дает права на трели. Открывает пультом ворота. Обе машины въезжают во двор.

Обнимаю Нестора и представляю ему Катю. Та подает Нестору руку:

– Катя. Шофер господина Яновского, а заодно жена. – Смеется. – Он до сих пор не умеет водить машину.

– Я тоже не умею, – говорит Нестор.

Умывшись с дороги, все садятся за стол на лужайке перед домом. Геральдина приносит пледы, но они не нужны: мюнхенский октябрь в солнечный день – это еще почти лето. Обед привозят из ближайшего ресторана. Разлив вино по бокалам, официант зажигает две свечи. Первая гаснет за салатом, вторая дотягивает до супа. Официант еще раз их зажигает, но на этот раз свечи гаснут немедленно. Видно, что парень не поджигатель. Улыбаясь, предпринимает новую попытку – свечи снова задувает ветром. Ветер шевелит распущенные Катинины волосы.

После обеда мы с Нестором садимся на веранде и принимаемся за работу. Нестор достает диктофон. Беззвучно включает.

– Раз, два, три. Поехали...

Нажимает на воспроизведение. Диктофон откликается тем же гагаринским возгласом.

– Как начинался твой путь в музыке?

Мой путь. Отвечаю как по писаному.

– Накануне первого дня учебы я сидел перед отцом и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести выстукиваемое. За окном звенели трамваи. В ответ им позвякивала в шкафу посуда. Потом Федор спел что-то и попросил повторить. Мелодию мне повторить не удалось – только слова: паба-паба, паба-паба, паба-па. Напоминали слово *nana*. А Федор просил называть его по-украински – *тато*. Мало кто в Киеве называл так отцов.

– Кажется, ты произносил всё это в самолете...

– Слово в слово. Я всегда так отвечаю на этот вопрос. Мне его раз двести задавали...

– Ладно. Зайдем с другой стороны. Украинский – запрещали?

– Нет. Скорее даже наоборот. Все вывески были по-украински, радио и всё такое...

– То есть национального вопроса не существовало?

– Не знаю. Русский был более, что ли, престижным языком. Все понимали, что без него ничего не добиться. Я бы сказал так: вопрос престижа стоит выше национального самоощущения. Вот когда это самоощущение становится вопросом престижа, тогда – другое дело.

Геральдина вносит поднос с кофейными приборами. Разливает по чашкам кофе. Шепотом (меня, считайте, нет) спрашивает согласия на то, чтобы добавить сливок. Выходит на цыпочках.

– Я ведь, как ты понимаешь, не пишу историю Украины – мне важна твоя история. Просто в тебе соединяются два народа, и я хочу понять, как именно.

– Я и сам хочу это понять.

Подливаю Нестору и себе кофе. По скатерти расплзается коричневое пятно.

– Ну, ты-то себя кем считаешь? – Нестор промокает пятно салфеткой.

– Я мог бы, конечно, ответить, что – русским...

– И что тебе мешает?

– Да ничего, наверное. Просто я не очень разделяю эти народы.

Нестор закуривает. Клубы дыма принимают облик Геральдины с пепельницей. Ставя ее перед Нестором, она с укором смотрит на кофейное пятно.

– Расскажи об отце.

– Отец... – задумчиво мну Несторову пачку сигарет. – Я буду брать у тебя сигареты, а? Мне важно не покупать их самому – боюсь снова начать курить.

– А ты уже начинал? – Нестор подносит мне огонь.

– Да, лет в четырнадцать: сэкономил на завтраках и покупал сигареты. Денег не было... Ты спрашивал об отце: вот у кого не было денег. Никогда. – Делаю глоток кофе и глубоко затягиваюсь. – Любитель широких жестов без малейших для этого средств. Ну, не драма ли?

Нестор пожимает плечами. Вероятно, он не считает это драмой.

– Изредка покупал матери роскошные букеты. – Вожу кончиком сигареты по дну пепельницы. – Изредка – потому что он на них копил. Приходил домой с букетом и небрежно так дарил – встретились, мол, красивые цветы по дороге. И она примерно знала, когда получит очередной букет, поскольку ей была известна скорость накопления.

– Но букет, купленный на сэкономленное, дороже букета, на который не надо копить. Разве это не очевидно?

– Да-да, очевидно, но отец, повторяю, любил широкие жесты. Жесты, понимаешь? А широкий жест не предполагает накопления. Предполагает легкость, но как раз ее-то и не было... Однажды – это было уже после развода – он повел нас с матерью в дорогой ресторан. Заказывал всё сам, потому что сразу подсчитывал общую сумму. Губами шевелил. А счет ему в конце принесли гораздо больший. Он тут же заставил официанта всё пересчитать. Тот не торопясь пересчитывал, а отец сидел красный. Мать что-то спокойно мне рассказывала, как бы не замечала происходящего. Вот в ком была легкость...

– И чем дело кончилось?

– Выяснилось, конечно, что халдей взял лишнего. И всё равно счет получился больше, чем ожидал отец, – он чего-то все-таки не учел, соус там какой-то. Отец расплатился – вывернул все карманы, но на чай уже не было. А тот стоял, подлец, с полотенцем наперевес, улыбался: на чай – как, будем давать? Мне его, вообще говоря, задушить хотелось, я эту картинку до сих пор помню. Отец сидел такой беззащитный. И, знаешь, тогда я вдруг почувствовал, как его люблю...

Мой мобильный играет *Марш авиаторов*. Отвечаю по-немецки, строго и коротко. Поясню Нестору, что это газета. Очередной вопрос от праздности ума.

– Например?

– Что вы думаете о мультикультурализме?

– И что ты думаешь?

– Ничего.

1974

В середине лета к Федору приехали родственница Галина и ее сын Егор. Что очень удивило Ирину – из Курской области. Не то чтобы Федор казался ей тем, у кого не могло быть родных в Курской области, – просто раньше она ни о чем подобном не слышала. Галина поселилась у Федора, а Егора – что удивило Ирину еще больше – бывший муж попросил разместить у нее. Ему хотелось, чтобы во время пребывания в Киеве у Егора (с Глебом они были одногодками) была компания. На фоне цыганского типа Галины волосы сына были необъяснимо светлыми – необъяснимо для Глеба. Не подумав о светловолосом, возможно, отце, Глеб про себя решил, что Егор – подкидыш. Из этого, по мнению Глеба, следовало, что с ним плохо обращаются: недаром же по приезде в Киев его сдали Яновским. Но подкидышем Егор не был. Так заявил он сам, когда Глеб деликатно, как ему казалось, спросил об этом. Не был так не был. Вопрос Глеба возник не из праздности. Просто, если бы Егор и в самом деле был подкидышем, Глеб упросил бы маму и бабушку его усыновить: Глебу хотелось брата. В отсутствие отца – и Глеб это уже знал – о появлении настоящего брата не приходилось даже мечтать. Впрочем, мечты о брате посещали мальчика только в первый день пребывания у них курского гостя. Весь этот день Егор был тих и задумчив. Но уже на следующий день его поведение изменилось, и Глебовы мечты о брате ушли сами собой. Егор стал командовать всеми в доме, от Глеба до Ирины. Определял, что и как готовить на обед, что читать на ночь и как правильно произносить букву *г*. Он объявил недействительным взрывное *г* на том основании, что в Курской области так не говорят. Также, по его сведениям, не говорили там *звонит* – только *звонит*. Когда Ирина в этом усомнилась, он стал требовать немедленной поездки в Курск и был готов Ирину сопровождать. Проявить в отношении него твердость никто не решился: Егор был гостем. Через день он уже командовал во дворе. Для украинских детей Егор где-то раздобыл украинскую считалку. Выстроив их в ряд, он предложил ее выучить: Вийшов Цуцик до болота, / Кличе Жабу на роботу. / Жаба каже:¹⁶ не піду! / Цуцик каже: поведу! / Жаба каже: в морду дам! / Цуцик каже: в суд подам. Считалка определяла того, кто *жмурился* при игре в жмурки. Повествование о склочном Цуцике и грубиянке Жабе новым друзьям Егора нравилось: оно было не лишено драматизма и некоторого даже протеста против существующего положения вещей. Но Егор научил киевских детей не только считать – он научил их прятаться. Точнее, научил ценить и использовать темноту, потому что играли и в темноте. Раньше дети прятались далеко от того, кто жмурился. Они залезали на нижние ветви деревьев, карабкались через заборы и забирались на крыши сараев. Раз, два, три, четыре, пять... Тот, кто жмурился, открывал глаза, уподобляясь Вию. Я иду искать... Всегда знал, где искать и где находить. Когда все выскакивали из своих укрытий, он без труда их опережал. Первым хлопал по столбу. С появлением Егора выяснилось, что в темноте можно прятаться иначе. Если, например, на углу дома висит фонарь, то тьма за углом становится крошечной. Никуда не прячься – просто прислоняйся к стене спиной, – становишься совершенно невидимым. Мест на границе света и тьмы во дворе обнаружилось немало, но свои волшебные свойства они обретали только ночью... В один из вечеров случилась жуткая история: стоявший на границе света и тьмы чуть не погиб. Это был Артур Акоюн, мальчик из соседнего двора. Он вышел из своего укрытия еще до конца счета и, покачиваясь, пошел на жмурившегося. Тот хотел было спросить, отчего это Артур вышел раньше времени, но вопрос примерз к его губам: Артур шел с остановившимся взглядом и полуоткрытым ртом. Шея и грудь его были в крови. Через мгновение его вырвало, и он медленно осел на колени, растирая руками по асфальту свою блевотину. Он стоял на четвереньках, его продолжало рвать, но самым страшным было не это. Когда Артур опустил голову, в свете фонаря стала видна рана на

¹⁶ Говорит.

затылке, из которой и текла кровь. Егор подтащил его к дворовому крану и стал промывать ему голову. Откуда-то уже бежала мать Артура, кто-то говорил, что вызвал скорую, Глеб же смотрел на Егора и восхищался его решительностью – в особенности тем, что тот не побоялся приблизиться к окровавленному человеку. Потом Егор обшарил теневое место, где стоял Артур, и нашел там кочергу. Исследуя ее, на сгибе Егор обнаружил кровь и черные как смоль волосы Артура. Он был настоящим Шерлоком Холмсом, этот Егор, и ему нравилось, что его тогда так называли, ведь на ночь он как раз читал Конан Дойла. Не оставалось сомнений, что мальчика ударили именно этим предметом. Во дворе, где с печного отопления давно перешли на паровое, в качестве орудия преступления использовали кочергу, и это бесконечно удивляло Егора. Откуда кочерга? То, что Артура ударили, причем сзади, удивляло его меньше. Артур лечился больше месяца и выздоровел. Однажды (это было уже в начале осени) мать Глеба на троллейбусной остановке встретила мать Артура. Беседовали о том о сем. Сын говорил мне, сказала вдруг без всякого перехода мать Артура, что ваш Егор ходил с кочергой еще за несколько дней до всего этого. Срубал ею лопухи. Ну и что, спросила мать Глеба. Ничего, мать Артура опустила глаза. К тому времени Егор находился уже в Курской области. Впрочем, там он не задержался – через полгода они с матерью переехали в Киев. Галина, приходившаяся якобы родственницей Федору, на самом деле таковой не являлась. Вернее сказать, еще летом не являлась, потому что спустя несколько месяцев она ею все-таки стала: Федор на Галине женился. Галина оказалась удивительной души человеком, добрым и бескорыстным, что должен был признать даже Глеб, поначалу относившийся к ней с предубеждением. Вероятно, Федор изначально не собирался на ней жениться, иначе не объявил бы ее своей родственницей. Когда же он узнал Галину ближе, всё изменилось. После неудачного брака Федор решился еще на одну попытку. Всех, кто знал о сложном отношении Федора к России, удивляло то, что оба раза брак заключался с русскими женщинами. Здесь опять возникало слово *сложность* – на этот раз применительно к духовному миру Федора в целом. На его родине, в Каменце-Подольском, говорили даже о *преодолении*, не уточняя, правда, кого или чего. Скорее всего, себя, потому что преодолевать Галину не было никакой необходимости. Стремясь еще прочнее скрепить их союз, она с невероятной скоростью выучила украинский. Скорость объяснялась, нужно думать, здоровой основой в виде поставленного фрикативного *г*. По-украински Галина разговаривала не только с мужем, но и со всеми остальными, говорившими, понятное дело, по-русски. Выучил украинский и Егор, проявлявший большую гибкость: на украинском он общался только в семье. В своем новом положении Галина существовала между двумя очень непростыми мужчинами, Федором и Егором, и старалась угодить обоим, каждому по-своему. Из рассказов Глеба, посещавшего дом отца, Ирина знала об этом и над Галиной подтрунивала. Несмотря на равнодушие к Федору, появление в его жизни новой женщины ее несколько раздражало. В самой небольшой степени. Не мешало, например, есть пироги, которые Галина всякий раз передавала ей с Глебом. Глядя на Галину, Глеб думал о том, как все-таки повезло с ней отцу, и мечтал о такой же тихой и благоразумной жене. Впрочем, даже в своем раннем возрасте он уже понимал, что женятся, конечно, на таких, как Галина, но влюбляются-то в неблагоприятных. Такой была новая влюбленность Глеба. Предметом ее стала Елена Марковна – подобно Клавдии Васильевне, учительница музыкальной школы. Она была на год моложе Клавочки (да и он стал на пару лет старше), так что разница в возрасте, столь огорчавшая раньше Глеба, была в данном случае чуть меньше. Елена Марковна преподавала не депрессивное сольфеджио, а захватывающую музыкальную литературу, вот почему чувство к ней оказалось не любовью-страданием, но любовью-наслаждением. Главным же, из-за чего Глеб сходил с ума, было то самое неблагоприятие Лены. Лены... Коротко и жестко. Никаких там уменьшительных суффиксов или отчеств. Вопреки школьным правилам, требовала, чтобы ее называли по имени – Лена, и это было первым пунктом ее неблагоприятия. То, что по советской музыкальной школе ходила в джинсах, – вторым. Третьим – обходилась без сумки, книги и конспекты связывала серой лохматой веревкой. С развязывания

ее начинался урок, завязыванием же оканчивался. Обходилась Лена еще без кое-чего, что по части неблагоприятия давало, наверное, сразу сотню пунктов, – и уж совсем в этом измерении зашкаливало, когда она рассказывала, что двухмесячный учительский отпуск проводила на Кавказе с хиппи. Так вот, музыкальная литература. Всё началось с Грига, о котором Глеб не хотел слушать, потому что играл в морской бой с Максимом Клецуком. Лена сказала: *Пер Гюнт* – это о настоящей любви. Глеб с Клецуком, хоть и были заняты, громко рассмеялись: имя Пер Гюнт что-то им напоминало. И тут подошла Лена. Она больно взяла Глеба за ухо и в самое это ухо прошептала: ты маленький писик, что ты можешь понимать в любви? Отпустила, отошла. А он всё еще чувствовал прикосновение ее губ. Это было больно, обидно и... интимно. Писик. Что, вообще говоря, значило это слово? Маленького писающего человека? Часть тела – тоже, соответственно, маленькую? Наверное, все-таки часть тела, которая (и Глеб уже это знал) с любовью была связана самым непосредственным образом. Всё это приходило ему в голову позже, но тогда, на уроке, в голове его не было мыслей – ни одной. Было жгучее и трудноопределимое чувство к Лене, которое в одно мгновение переполнило его, выплеснулось наружу и заставило покраснеть. Ненависть, боль, стыд, любовь? Всё вместе? Глеб не отрываясь смотрел на Лену, но на ее лице не прочел ничего, кроме влечения к *Пер Гюнту*. Рассказав о пьесе, она поставила пластинку. Когда звучала *Смерть Озе*, глаза ее были полны слез. Во время *Танца Анитры* едва заметно дирижировала – самыми кончиками пальцев. Такой как бы *танец Лены*. Не танец, лишь его обозначение, и оттого в высшей степени чувственно. Лена. Смуглая, волосы – воронье крыло. Дочь вождя бедуинов. Подняла указательный: слышите – виолончели и контрабасы играют пиццикато, – какой восторг! Сделала несколько щипковых движений. Восторг. Но больше всего Глебу понравилась *Песня Сольвейг*. Лена будет его ждать всегда, до тех, по крайней мере, пор, пока он не вырастет. После окончания урока она попросила его остаться. Усадила за парту, а сама села на нее сверху. Поправила ему загнувшийся воротник. Ленин палец мягко скользнул по его шее, и полчище мурашек начало свой спуск по позвоночнику. Не обиделся? Спросив, потрепала его по подбородку. Нет, ответил Глеб и заплакал. Слезы не обиды, но любви. Поцеловала его в то ухо, за которое на уроке тянула: больше не болит? Нет, больше не болело, но Глеб промолчал. Пусть казнится. С тех пор музыкальная литература стала его любимым предметом. Слушая Ленины рассказы о композиторах, он проживал их жизни, сочинял их музыку и удивлялся, что всё это существовало до него. Когда в следующей четверти Лена рассказывала о Гайдне, Глеб смотрел на нее с гордостью, потому что он и был Гайдном. Собственно, *Глеб* звучало как *Гайдн*, и Лена не могла этого не понимать. Она была благодарна ученику за все 104 симфонии, из которых любимыми у них с Глебом были две: симфония 103 (с тремоло литавр), но особенно – симфония 45 фа-диез минор *Прощальная*. Два гобоя, фагот, две валторны, первые и вторые скрипки, альты, виолончели и контрабасы. По очереди прекращают играть в такой последовательности: духовые, контрабасы, виолончели, альты и вторые скрипки. Положив инструмент на стул, каждый гасит свою свечу и уходит. Остаются лишь две первые скрипки, которые и завершают симфонию. Гасят свечи и тоже уходят. Однажды, когда Лена повела свою группу слушать Гайдна в филармонию, у гобоя не погасла свеча. Он задул ее и двинулся к выходу, но, едва он прошел уже метра три, свеча опять загорелась. Зал сигнализировал. Раздались свистки, хлопки и крики. Гобой вернулся вразвалку, как-то даже криво (такой же кривой была его улыбка) и задул свечу. Когда он был уже у кулисы, свеча собралась с силами и снова вспыхнула. Зал улюлюкал. Гобой посмотрел на дирижера. Тот, стоявший спиной к залу, скроил, видно, ему рожу, потому что второй раз гобой возвращался уже без улыбки. Долго и хмуро дул на свечу. Под всеобщий хохот ждал, возобновит ли она свое горение. Глебу казалось странным, что человек, чья основная жизненная задача – дуть, испытывает такие трудности со свечой. А может быть – кто знает? – дело тут было в свече, в ее стойкости. В конце концов она, разумеется, погасла. Не гасло лишь чувство Глеба к Лене. Ему казалось, что он ощущал взаимность. Иногда, расхаживая по классу,

она останавливалась рядом с ним. Ставила ногу на поперечную перекладину его стула, покачивала ею. Продолжала рассказывать как ни в чем не бывало. У мальчика пересыхало в горле от близости стройной ноги и от этого покачивания. Он смотрел на ногу не отрываясь – так она была прекрасна, – а кроме того, просто боялся поднять глаза. Однажды он все-таки это сделал и поймал взгляд Лены, властный и влажный. Ему показалось, что она смутилась, во всяком случае, сняла ногу со стула. Улегшись ночью в постель, Глеб представлял, что Лена лежит рядом, совсем близко, он ощущает ее нежную кожу. Так они лежат всю ночь – просто лежат, не помышляя ни о чем другом. Лена смотрит на него вот этим же властным и влажным взглядом, и этот взгляд покрепче будет всего того, что могло бы еще случиться. Утром Глеб встал с необычным чувством – ему казалось, что ночью совершилось нечто столь же постыдное, сколь сладкое. Утро – время непростое. Всегда было таким.

02.10.12, Мюнхен

Нестор, включая диктофон:

- В твоих интервью часто упоминается город Брисбен, ну и вообще Австралия. Почему?
- Потому что, когда у нас зима, у них – лето.
- А когда у нас лето?
- Тогда у них тоже лето. По нашим меркам – лето. Вот в чем вся штука, понимаешь? В

нашей семье это место считалось раем.

- Для рая там слишком специфическое население. Потомки каторжников.
- И что?
- Для рая требуется хорошая биография.
- Ты там был?
- Где, в Австралии?
- Нет, в раю. Откуда ты знаешь, какая там требуется биография?

Нестор пожимает плечами.

- Я хотел спросить тебя об Ирине. Она ведь уехала в Брисбен?

– С какого-то времени мать начала переписываться с человеком из Брисбена. Не знаю, где она взяла его адрес, но только писала ему много лет.

- И он сделал ей предложение?

– Да. Это была трогательная переписка. Время от времени мать пересказывала мне его письма. Очень хорошие. В основном – о генерале Томасе Брисбене, в честь которого назван город. К сожалению, она увезла их с собой.

- Как зовут ее друга?

– Как Кука – Джеймс. Она и называла его Кук. *Кук написал мне, что, помимо города, в честь Брисбена назван кратер на луне. По образованию генерал был астрономом. Или: Кук пишет, что в свободное время генерал Брисбен открыл более семи тысяч звезд. Ты только представь: в свободное время!*

– Ты давно живешь за границей. Как тебе кажется, те, кто уехал, – они находят решение своих проблем?

– Трудно сказать. Это решение какое-то... Ну, внешнее, что ли. Если брать шире, то думаю, что даже рай – во многом внутреннее состояние.

- Иначе говоря, человеку бесполезно входить в рай со всеми своими болями?

– Боюсь, что на фоне всеобщего счастья он будет вдвойне несчастлив. И в конце концов, наверное, сбежит.

- Вы с Ириной поддерживаете контакты?

- Да. Мы поддерживаем контакты. Это именно то, что мы делаем.

1975

Однажды утром по дороге в школу Глеба перехватил Егор. Он стоял, прислонившись к каштану, и улыбался. Его рука, державшая портфель, раскачивалась на манер маятника, что придавало Егору безвольный вид. Но так только казалось: Егор был весь воля и целеустремленность. Он приехал, чтобы предложить Глебу прогулять уроки. Это было предложение, от которого невозможно, ну да, отказаться – и не потому, что оно казалось таким уж привлекательным. Ничем особым оно не привлекало, всё дело было в напоре Егора. Свой план он излагал так, будто это был его великий дар Глебу, который он, Егор, со всем бескорыстием преподносил. Понятно, что Глебу ничего не оставалось, как этот дар принять. Первым делом Егор повел друга вниз по бульвару Шевченко, где ему была известна первоклассная щель между двумя домами. Там они спрятали портфели. За время своей киевской жизни Егор выучил город досконально и вообще стал в нем своим. Общаюсь же с Глебом, он благоразумно перешел на взрывное *г*. Учитывая характер Егора, это было именно то *г*, которое ему подходило. Спрятав портфели, новый Глебов родственник маршем проследовал к ближайшей помойке и среди поломанной мебели отыскал две ножки стула. Глеб не представлял, для чего они могли потребоваться, но ни о чем не спрашивал. Оба парня знали, что вопрос – проявление подчиненности, а ответ – вроде как наоборот. С ножками всё оказалось просто: они нужны были для того, чтобы сбивать каштаны. Для сбора их предусмотрительный Егор прихватил полотняную сумку. Каштаны росли на бульваре Шевченко вдоль домов, а посередине бульвара двумя параллельными рядами возвышались пирамидальные тополя. Киевские каштаны были несъедобными. Их не жарили на перекрестках, и не было в них ничего парижского, но Егору и Глебу они нравились. Эти каштаны висели на ветках зелеными ежиками, иногда желтели. Будучи сбитыми метким броском палки, ежики лопались на лету, распадалась на половинки, освобождая полированные красавцы-каштаны. Они ударялись об асфальт с мелодичным звуком, несколько раз подпрыгивали и замирали где-нибудь у бордюра. Гладкие, блестящие, с обязательной неполированной макушкой. За глуховатым пиццикатом каштана всякий раз раздавался звонкий форшлаг палки. Из всего летевшего с дерева она хотя и приземлялась последней, зато уж не отделялась одной нотой. А однажды прозвучала как удар барабана: ударившись о ветку, отлетела к дороге и упала на припаркованные *Жигули*. Снимая палку с капота машины, Глеб увидел вмятину. Небольшую, но – вмятину. Он изучал ее минуту-другую, пока на своей руке не почувствовал руку Егора, которая тащила его в сторону ближайшей подворотни. Он хотел было взять лежавшую под деревом сумку с каштанами, но рука Егора с силой влекла его к подворотне. Из другой подворотни, услышав звук удара по капоту, к ним уже мчался владелец *Жигулей*. Вбежав во двор, Егор и Глеб бросились в первую открытую дверь и взлетели по лестнице на последний этаж. Это была черная лестница дома – черная в буквальном смысле: на первых трех ее этажах не было ни окон, ни электрического освещения. Свет брезжил лишь на последнем, четвертом этаже – там оказалось окно, выходившее в щель между домами. В тусклом оконном свете можно было различить черный ход в квартиру – узкую дверь с облупившейся краской. Черным ходом, по всей видимости, пользовались – выходили курить к полуоткрытому окну: на подоконнике стояла массивная гранитная пепельница, полная окурков. За дверью слышались приглушенные голоса. Затаив дыхание, Глеб и Егор ждали, куда направится владелец машины. Он видел, что они скрылись в подворотне, но куда побежали дальше, не знал. Мальчики слышали его осторожные шаги. В какой-то момент им даже показалось, что кто-то поднимается по лестнице, но это было лишь несколько мгновений. Вероятно, преследователь раздумал искать их в темноте. Судя по скрежету битого кирпича, он решил проверить щель между домами. Глеб почувствовал было облегчение, но обнаружил, что на лице Егора радости не было. Портфели, одними губами произнес Егор. Он заметил наши портфели... Через открытое окно они

видели, как лысина автомобилиста медленно перемещалась в сторону портфелей. Видимо, этот тип догадался, кто здесь оставил свои вещи. Глеб увидел, как руки Егора потянулись к пепельнице и вытряхнули из нее окурки на пол. Медленно перенесли за пределы подоконника. Глеб с ужасом следил за странными баюкающими движениями рук Егора. Перевел взгляд на его лицо – тот улыбался. Глеб понял, что это такая шутка, и страх его прошел. Когда лысина оказалась точно под окном, Егор разжал руки. Но не так ведь это и просто – попасть в лысину пепельницей. Пепельница летела невыразимо долго, и Глеб все еще надеялся, что она пролетит мимо. Не пролетела. Глухо ударилась о кость, обтянутую безволосой кожей. Человек, стоявший внизу, не упал. Он прошел еще несколько шагов и медленно осел на землю. Потом свалился на бок. Начал шарить руками по земле, словно искал что-то. Коснулся одного из портфелей, но не попытался его открыть. Он явно ничего не искал. Издавал звук, похожий на мычание. Егор кивнул Глебу, и они спустились вниз. Осторожно вошли в пространство между домами. Чтобы забрать портфели, им нужно было переступить через лысого – это было страшно. Даже в полумраке было видно, что его лицо в крови. Егор переступил через лежащего, взял оба портфеля, снова переступил и пошел к выходу. Глеб подумал и тоже двинулся к выходу. Полоса света расширялась, они вышли на солнце. А лысый остался во мраке. Пойдем, вытащим его, сказал Глеб. Егор криво усмехнулся и последовал за Глебом. С той же улыбкой наблюдал, как Глеб боится взяться за дергающиеся руки человека. Подошел и схватил правую руку. Велел Глебу взяться за левую: потащили! Ноги лысого безвольно волочились по земле. Егор с Глебом положили его на траву, но он не затих. Будто в замедленной съемке, перевернулся на живот и пополз к ближайшему дереву. Напоминал огромного неуклюжего жука. Лысого к тому же – жуков часто рисуют лысыми. Только вот на окровавленной его лысине чернела глубокая рана. Глеб думал, что такие бывают только в кино. На нее страшно было смотреть. Уходя дворами, мальчики оглядывались. Обернувшись последний раз, увидели женщину с коляской, которая не торопясь приближалась к их бывшему преследователю. Думала, видимо, что он пьяный, – сейчас разберется, что к чему. И вызовет ему скорую. Глеб с Егором так и не узнали, вызвала ли. Жутко жуку...

09.11.12, Мюнхен

Лежу в джакузи и всем телом радуюсь теплым потокам. Ванная комната просторна и светла. Зная мою привычку подолгу лежать в ванной, при покупке дома Катя поставила условие – расширить ванную комнату. Свет яркий, но рассеянный – льется из скрытых светильников на потолке. Основные решения в этом доме лежат на Кате. Неосновные – на Геральдине. В ванной комнате Катя создала мне своего рода кабинет. Приемную.

Сидя в пляжных креслах, Катя и Барбара наблюдают мое купание, в их руках рюмки с ликером. Мне так уютно и спокойно, что я не порицаю сестер за потребление алкоголя, хотя в другое время мог бы. Собственно говоря, и у меня в руке рюмка с ликером. Рюмка чуть заметно дрожит.

Барбара:

– Меня беспокоит твой тремор.

Катя (неуверенно):

– Это от бьющей воды.

Барбара встает и отключает воду. Моя рюмка продолжает дрожать.

Я:

– У меня правая рука не двигается в плечевом суставе. – Допиваю ликер и ставлю рюмку на край джакузи. – Думаю, всё дело в позвоночнике.

Катя смотрит на Барбару. В глазах Барбары сомнение. Она просит меня закрыть глаза и обеими руками попеременно коснуться носа. Задание выполняется с легкой неточностью.

– Действие ликера, – говорю я.

За окном проезжает автобус. В матовом стекле видны только его контуры и огни.

– Что ты молчишь, Барбара? – спрашивает Катя.

– На месте Глеба я бы ходила к невропатологу.

Вид у Барбары отсутствующий.

– Слышишь, что тебе говорит врач? – обращается ко мне Катя.

– Этот врач – гастроэнтеролог, – я подчеркнуто спокоен.

– В первую очередь она – врач!

Катя делает резкое движение рукой, и ликер расплескивается. Я улыбаюсь. Улыбка недвусмысленно дает понять, что оба случая с рюмками имеют одну и ту же причину – ликер. Продолжая смотреть куда-то вдаль, Барбара произносит:

– Боюсь, это может быть болезнь Паркинсона.

Образуя цунами, рывком сажусь и обхватываю колени руками. Волна выплескивается на пол. Катя зовет Геральдину. Та приходит с ведром и тряпкой и сосредоточенно собирает воду. На тряпке – остатки моющего средства, руки Геральдины покрываются пеной. На меня голого она не смотрит, хотя особенно и не стесняется. Закончив вытирать пол, Геральдина распрямляется и подтягивает сползшие джинсы. Катя подходит ко мне, проводит пальцем по мокрому плечу.

– Глеб, дорогой, тебе действительно нужно провериться...

Резко переступаю через край джакузи. Не вытираясь, набрасываю халат. На полу снова образуется большая лужа.

1975

Склонение существительного *путь*. Был такой параграф в учебнике русского языка, изданном для украинских школ. Русские формы – *путь, пути, пути, путь, путем, пути* – сопоставлялись там с украинскими: *путь, путі, путі, путь, путтю, путі*. Главное отличие: в украинском *путь* – она. Грамматический женский род. Однажды Глеб спросил отца, как так получилось, что *путь* – она. Тому¹⁷ що наша путь, ответил Федор, вона¹⁸ як жінка, м'яка¹⁹ та лагідна²⁰, в той час²¹ як російський путь – жорсткий,²² для життя непередбачений²³. Саме²⁴ тому у нас і не може бути спільної²⁵ путі. Федор неожиданно напел песню о бронепоезде, который стоит на запасном пути. Песня была в точку, потому что утром этого дня в школе диктовали список внеклассного чтения по русской литературе: в него вошла повесть Всеволода Иванова *Бронепоезд 14-69*. Бджилка, который писал медленно, не успел пометить номер бронепоезда и после урока подходил к учительнице, чтобы его уточнить. Существовала опасность, что учащийся может прочесть повесть о бронепоезде с другим номером. Глеба же волновали не цифры, а грамматика. После недели размышлений он принес Федору список украинских слов мужского рода, противопоставленных женскому роду в русском: *біль / боль, дріб / дробь, пил / пыль, посуд / посуда, рукопис / рукопись, Сибір / Сибирь, собака / собака*. Он попросил отца прокомментировать и эти случаи. Следовало ли из грамматического рода, что боль в русском ощущении по-женски мягче, а дробь – мельче? О чем, наконец, говорило то, что собака в украинском – *он*? Федор, подумав какое-то время над списком, вынужден был признать, что грамматические толкования имеют свои пределы. Что же касается отличия русского пути от украинского (и здесь уже не было никакой грамматики), отец со свойственной ему непреклонностью остался при своем мнении. Была, впрочем, сфера, где мнение его изменилось. Речь шла о слухе Глеба. Федор с удовлетворением замечал, как с каждым годом слух его сына развивается всё больше. Об этом ни разу не было сказано как о результате, зато процесс Федору был очевиден и его радовал. Он пришел на выпускной экзамен, где Глеб играл Концерт соль-мажор Вивальди. Мальчик исполнил его без единой помарки, при этом не просто следовал указаниям великого итальянца, но добавлял что-то невыразимое, от чего Федор почувствовал волнение. Уже начальные ноты (соль, фа-диез, соль), которые многие исполнители склонны проглатывать, Глеб сыграл акцентированно, на вызывающем фортиссимо, и это прозвучало почти трагически. Такое начало обеспокоило Федора, полагавшего, что, сыграв первые ноты на таком подъеме, исполнитель обесценит все дальнейшие эмоции концерта. Потому что на этой силе чувства (ее можно достичь лишь единожды) всю вещь не сыграть, а оканчивать уровнем, который ниже изначального, – это провал. В прямом смысле провал, движение вниз. Но тут случилось необъяснимое: играя концерт, Глеб взял вершину еще более высокую – но это была уже другая вершина. Он (и именно это казалось необъяснимым Федору) не пытался дважды штурмовать одну и ту же высоту. В какое-то мгновение возникла другая, прежде невидимая вершина или – это становилось всё очевиднее – образовалось еще одно измерение со своей

¹⁷ Потому.¹⁸ Она.¹⁹ Мягкая.²⁰ Ласковая.²¹ Время.²² Жесткий.²³ Непредусмотренный.²⁴ Именно.²⁵ Совместной.

собственной вершиной, и к ней-то стремился теперь его сын. Здесь Федор мысленно поправил сам себя: измерение не образовалось, его образовал Глеб. И теперь он смотрел на Глеба новыми глазами. Если раньше его отношение к занятиям сына музыкой было снисходительным, рождено было жалостью к попытке сына поднять неподъемное (Федор так это и определял в разговорах с Ириной), то сейчас он увидел, как неподъемное приподнимается. Детские еще пальцы Глеба создавали что-то, что парило поверх музыки Вивальди. Это что-то было еще совсем небольшим, но ощутимым – тем, что позволяет музыке всякий раз рождаться заново, потому что только на этом условии она продолжает жить. Федор и сам не мог этого толком выразить – просто знал, что порой даже виртуозное исполнение не рождает музыки: с бесстрастием клавесина оно лишь повторяет записанное на нотном стане. И абсолютный слух уступает другому – внутреннему – слуху, который позволяет проникнуть в самую суть вещи. Вдохновение Глеба передалось и аккомпаниаторше – пожилой женщине с выцветшими от давнего равнодушия глазами. Всё в ней было немзыкально: короткие толстые пальцы, вечная вязаная кофта и закрашенная хной седина, – но ее тоже пробрало. Отпустив клавишу с последней нотой, она встала из-за фортепьяно и обняла Глеба. Федор тоже хотел обнять сына, но в последнее мгновение смутился – оттого, может быть, что постеснялся копировать аккомпаниаторшу. Протянутую в направлении Глеба руку опустил на гриф домры. Сжимал его некоторое время, словно неотъемлемую Глебову часть, затем отпустил. Гарно²⁶, синку. Сказано было скупно, но Глебу оказалось достаточно. Поздравлявших было много, но по-настоящему-то он ждал слов от Федора. В тот день выпускник музыкальной школы получил и другой подарок: наручные часы *Ракета*. Корпус часы имели посеребренный, а циферблат, выполненный из некоего полудрагоценного камня, оказался неожиданно багров. Можно было бы подумать, что подобным подарком выпускник предупреждался о предстоящем трудном, каком-то, может быть, даже багровом времени, если бы часы не были куплены в складчину мамой, бабушкой, Федором и Верой Михайловной. Имена дарителей были выгравированы на корпусе часов без всяких, разумеется, предупреждений. Вере Михайловне хотелось, правда, выгравировать и упоминание об окончании школы по классу домры, но места хватало либо на имена, либо на запись об окончании. Предпочли имена – тем более что школу Глеб вовсе не оканчивал, скорее, начинал: теперь он переходил на класс гитары. И учиться ему предстояло вновь у Веры Михайловны. Глеб снова шел в первый класс музыкальной школы. И испытывал совершеннейшее счастье. Это чувство не позволило ему ждать начала учебного года, и уже сейчас, в июне, как пять лет назад, они с отцом поехали в магазин инструментов и купили гитару ленинградского производства. По советским меркам это была неплохая гитара, но по большому счету – Глеб понял это много позже, коллекционируя инструменты, – лопата лопатой. Вера Михайловна предупредила его, что на сей раз заказной гитары у нее нет, но Глеба это ничуть не расстроило. Он любовался видом и гладил струны той гитары, которую они смогли купить. Чувствовал гордость оттого, что такой изысканный инструмент находится теперь у него дома. А прежде – трудно себе представить – дом как-то обходился без него. Всё лето Глеб изображал исполнение знаменитых вещей, забрасывая набок челку и перебирая пальцами поверх струн. Это была, пожалуй, лучшая музыка его жизни, потому что на ней не лежало проклятие воплощения: чистая идея. Мечта, не отягощенная реальностью. Собственно говоря, у Глеба был самоучитель, и кое-что он мог бы выучить самостоятельно (тем более что ему очень этого хотелось!), но – не выучил. Юный музыкант настолько дорожил чистотой стиля, что даже первые шаги предпочел сделать под опытным руководством. Так девственница блюдет себя для будущего мужа, потому что первые ласки должны быть освящены браком. Это музыкальное целомудрие домашние восприняли не без удивления. Мать Глеба выразилась даже в том духе, что ее сын, ожидая тренера по плаванию, упражнялся в бассейне без воды. Поскольку игра без звука выглядела (Глеб

²⁶ Хорошо.

смотрел на свои пальцы: именно что выглядела!) непривычно, он начал издавать звуки сам. Эти звуки имитировали мелодии, а чаще просто ритм. Независимо от того, были в оригинале слова или их не было, любая мелодия исполнялась в виде яростного ди-ди-ди-ди, сопровождавшегося мельчайшими капельками слюны. Постепенно к этому прибавились да-да-да-да и ду-ду-ду-ду, так что к концу лета Глеб подошел с богатой аранжировкой. Впоследствии он, разумеется, выучился играть и на гитаре, но привычка голосового сопровождения осталась. Стала Глебовым фирменным знаком. А лето вошло в его память в придуманном им звуковом оформлении. Запомнилось оно еще тем, что у Федора родился сын Олесь. Хотя – что значит *еще*: это стало главной новостью лета! И главной неожиданностью, потому что обильное тело Галины до последнего момента скрывало зарождение в нем нового тела. Сказать же, что рождение Олесья стало для всех радостью, было бы преувеличением. По крайней мере Ирина такой радости не испытывала. О расставании с Федором она ни минуты не жалела, и все-таки появление в его жизни Галины и – как следствие – Олесья было ей неприятно. Глеб и Антонина Павловна восприняли новость спокойно. Тем, кто расстроился по-настоящему, был, судя по всему, Егор. Однажды, когда Федора и Галины не было дома, он отнес младенца на кухню и, положив его в духовку, открыл газ. За шипением газа не услышал, как вернулись родители. Первым делом они бросились к Олесью, который, к счастью, лежал над забившейся горелкой духовки. Так были выиграны секунды, позволившие ему дожить до прихода взрослых. Федор и Галина были настолько потрясены, что не коснулись Егора и пальцем. Поняв, что бить его не будут, Егор ходил за родителями и ноющим голосом нес какую-то ахиною. Рассказывал, что Олесья облепили мухи, и он, Егор, по глупости решил поместить младенца на несколько секунд под газ... Не видя отклика, Егор стал по-настоящему плакать и говорить, что всё случилось потому, что его перестали любить, что всё внимание перешло теперь к Олесью. Это было единственным пунктом, где Егор приблизился к правде, и Федор наградил его ударом по лицу. Размазывая пошедшую носом кровь, Егор надеялся, что его побьют еще (он уже понял, что это было бы наименьшим из зол) и, может быть, простят. Но больше его не били. Выставив Егора в кухню, родители закрылись в комнате и стали обсуждать, что им теперь делать. Было ясно, что детей нельзя было ни на минуту оставлять вдвоем. Для Федора это значило, что взрослые должны утратить внимание, но Галина видела дело иначе. Глядя на мужа сухими глазами, она произнесла: він не може жити з нами. Федор долго молчал. В конце концов спросил: чому? В ньому сидить вбивця, ответила Галина. Видя, что Федор собирается что-то возразить, она положила ему руку на плечо: я це знаю. Через неделю Федор отвез Егора в интернат. Это не была колония для малолетних преступников (о произошедшем никому не говорили) – обычное учреждение для сирот и детей из неполных семей. Вскоре Егора там навестил Глеб – он приехал с Федором. Кажется, Федор взял с собой Глеба только потому, что не очень понимал, о чем ему говорить с Егором. Когда он оставил мальчиков одних, Егор сказал Глебу: мне здесь лучше, очень уж надоела эта парочка, и – рассказал, что произошло на самом деле. Прощаясь, Егор шепнул Глебу: жаль, что не ликвидировал их выплодка. Глеб поднял на него глаза, и веки показались ему свинцовыми. Егор засмеялся: шучу! Это было 31 августа. А на следующий день Глеб уже сидел за партой и думал о том, что спустя несколько часов состоится его первый урок гитары. Которого он ждал, между прочим, пять лет. И урок состоялся. И вела его та же Вера Михайловна – в прежней своей юбке, в прежнем жакете, начинавшем уже блестеть на локтях. Глеб понял, что ждал обновления – если не Веры Михайловны в целом (такое было трудно себе представить), то по крайней мере ее гардероба. Она этого, увы, не почувствовала и пришла необновленной. Вопреки подсознательным ожиданиям Глеба, с началом занятий гитарой жизнь нового начала не обнаруживала. Осознав это, мальчик загрустил. Свежившийся радостью еще утром, в музыкальной школе он имел вид, который Вера Михайловна тут же определила как *вареный*. Она даже поинтересовалась у Глеба, не болен ли тот. Нет, не болен. Может быть, влюбился? Глеб внимательно посмотрел на учительницу: может быть.

Это была хорошая мысль. Точнее, чувство. Оно уже и прежде посещало Глеба, но избранницы его были старше, а главное, выше. Сегодня же утром ситуация начала выравниваться. Рядом с ним на торжественной линейке стояла новая девочка. Ее фамилию знали еще задолго до начала занятий – Адаменко. Староста класса сказала: в следующем учебном году к нам придет Валя Адаменко. На вопрос о том, мальчик это или девочка, ни фамилия, ни имя ответа не давали. Попытки прояснить дело у старосты оказались безуспешными. Сказано – Валя Адаменко, строго отвечала староста. Она тоже не знала никаких подробностей об Адаменко, но прямо в этом не признавалась. Валя Адаменко оказалась девочкой. Красивой. Несмотря на украинскую фамилию, черты ее говорили о Востоке: особый разрез глаз, легкая смуглость кожи. Не говорили даже – намекали. Отец ее был военнотружущим, и в Киев Валя попала с очередным его переводом по службе. Валины однокласники видели его раз или два – у него был типичный славянский облик. За восточные штрихи во внешности Вали отвечала, по всей вероятности, мать, которой никто не видел. На линейке Глеб рассматривал едва различимые волоски на нежной коже Валиного лица – не волоски даже, а легчайший пух вроде того, что покрывает персик. При мысли о персике он неожиданно подумал о совершенно запрещенном, и его накрыла теплая и влажная волна. Он испытал это впервые, как испытал Адам, съев – нет, не персик – яблоко. *Это* было непривычно навязчивым, и чем непристойней оно становилось, тем было слаще. Оно поднималось перестоявшим тестом откуда-то из глубин живота, рождалось из всего – подобия форм, звуков... Особенно звуков – например, скольжение ногтей по струне *ми* напоминало сладострастные крики. А древесные разводы на поверхности шкафов были как голое женское тело – может быть, даже тело Вали Адаменко, – и Глеб впивался в него глазами. Он часто представлял себе Валу без одежды, особенно перед сном, и после этого долго вертелся в постели. Какой уж тут сон... И даже Валина фамилия связывалась в его сознании с Адамом. Историю Адама он прежде не раз слышал от Антонины Павловны – и всякий раз спрашивал, отчего это так строго они с Евой были наказаны за яблоко. Они с Валеи. Если бы они съели яблоко... Глеб чувствовал, как его тело покрывается испариной.

20.12.12, Мюнхен

Иду к невропатологу фрау Фукс. Накануне просматривал интернет и нашел врача неподалеку от дома. Это посещение я хочу сделать частью прогулки. Не то чтобы специально врача посещаю – нет, просто гулял, увидел, зашел. Ехать в клинику к Барбаре – как-то слишком уж торжественно и, видимо, чревато. Там у меня найдут всё что угодно, уж такой нарисуют диагноз, что не примут и в крематорий. Нажимаю на кнопку переговорного устройства. На двери – рождественский венок, под ним – бронзовая табличка с часами работы доктора медицины фрау Фукс. Под жужжание дверного механизма она меня встречает на пороге. Для доктора медицины неожиданно молода. Из-за ее спины выглядывает медсестра. Фрау Фукс улыбается.

– Неужели нас посетил сам господин Яновски?

Голос низкий и тихий.

– Да, некоторым образом...

Делаю вид, что стесняюсь. На самом деле давно уже ничего не стесняюсь. Рассказываю, что стал испытывать сложности с пальцами правой руки. Эта рука плохо двигается, и в плече выше определенной высоты ее не поднимаешь. Во время моей попытки поднять руку лицо фрау Фукс выражает легкое страдание. Она просит меня раздеться до пояса. По команде фрау Фукс я закрываю глаза и касаюсь указательным пальцем кончика носа – сначала левой рукой, затем правой. Врач и сестра шепотом восклицают *ура!* и поднимают ладони как бы для аплодисментов. Видно, что их связывают годы работы.

Затем меня укладывают на кушетку, и фрау Фукс начинает сгибать мне руки и ноги. Проверяя чувствительность, нажимает на различные точки на руках. Следующий номер: я стою с вытянутыми руками. Резко выбрасываю пальцы вперед и снова собираю их в кулак. За кулаки берется фрау Фукс и пытается согнуть мои руки, но ей это не удается. Напоследок еще раз нажимает на руки (так, уходя от закрытой двери, еще раз дергают за ручку) и выпускает воздух сквозь неплотно сомкнутые губы: измождена. Побеждена. Крепкий, здоровый пациент. Гениальный музыкант и просто привлекательный мужчина.

Обсуждение результатов обследования фрау Фукс предлагает устроить за кофе. Мы сидим в полной света (высокие окна) приемной. За окном по зелено-бурой, в пятнах инея траве прыгает ворона. Иногда переходит на шаг – смешно переваливается с ноги на ногу. Делает вид, будто держит руки в карманах. Карманов нет, даже рук, в общем-то, нет (кладу в чашку коричневый сахар), а вот ведь – делает вид... Да, доктор медицины уже поняла, чего опасается ее пациент. Пациенту сказали, что у него, возможно, болезнь Паркинсона. Нет, это маловероятно. При Паркинсоне характерен так называемый тремор покоя, когда руки дрожат в отсутствие мышечных усилий, причем амплитуда такого дрожания довольно велика. У пациента действительно наблюдается легкое дрожание правой руки, но амплитуда его несравнима с паркинсонической. Это нервы, что при напряженном графике выступлений и интенсивной светской жизни господина Яновски неудивительно. Здесь поможет терапевтический курс с применением современных препаратов. Что же касается проблем с плечевым суставом, то это, по всей видимости, позвоночник. Нужен хороший остеопат.

Подразумевается, что хороший невропатолог уже есть. Фрау Фукс достает из принтера рецепты необходимых мне лекарств и подписывает их изысканной перьевой ручкой. Я, в свою очередь, вынимаю из сумки компакт-диски с моими выступлениями и тоже их подписываю – доктору и ее помощнице. Бросаю прощальный взгляд за окно – вороны больше нет. Пустота.

1976

Порой, когда Глеб брал в руки гитару, ему представлялось, что это Валя. У гитары, в сущности, женские формы. И только прикосновение к струнам действовало на него остужающе: струны были так тонки, что отрицали телесное. И они издавали неземные по красоте звуки. Упражняясь в звукоизвлечении, Глеб постигал прежде неведомые ему приемы. Например, барре, которое не используется в игре на домре. Трудность барре вовсе не в том, чтобы крепко прижать указательный палец к грифу. Всё дело – в умении чувствовать каждую из прижатых пальцем струн. Те, кто берут не умением, а силой, сосредоточивают давление в середине пальца. Следствие – большинство струн оказываются неприжатыми и перестают звучать. Или взять, например, тремоло. На домре тремоло играется медиатором, при этом двигается вся кисть. На гитаре же кисть неподвижна – двигаются пальцы. Ничто так долго Глеб не отработывал, как тремоло. По совету Веры Михайловны он включал метроном и начинал играть простые мелодии на тремоло. В своих ежедневных домашних занятиях только этому посвящал около часа, потому что по очереди делал акцент на каждом из пальцев. Когда же он достиг абсолютного мастерства в извлечении звуков всеми пальцами, его тремоло стало волшебным. И это не было лишь приемом игры, взятым в отдельности: Глеб научился вписывать его в общую канву пьесы. Хорошо известно, что тремоло, как все яркие явления, из общей музыкальной фактуры выделяется, и что объединить его с остальным текстом пьесы – задача не из простых. Так вот, мальчик справлялся и с этим. Например, он преувеличенно замедлял тремоло, драпируя тем самым шов со следующим музыкальным фрагментом. И это вызывало удивление даже у его учительницы: пусть Глеб находился в музыкальной школе уже шестой год, но в учебе на гитаре он был всего лишь первоклассник! Несмотря на свое удивление, Вера Михайловна приводила на его уроки многих старших своих учеников, чтобы показать им, что такое настоящее тремоло. Самому же Глебу оно напоминало время: было таким же ровным и поглощало ноты так же, как время – события. Время Глеб открыл для себя лет в 13–14. Еще недавно оно не двигалось, было, можно сказать, вечностью, а теперь всё изменилось. Сначала возникли годы, и каждый из них был особенным в том смысле, что не имел ничего общего с другими годами. Словно бы прилетал из космоса, безродный и непредсказуемый. А этот, последний год неожиданно нашел для себя ряд. Он был зависим от предыдущих лет и определял характер лет последующих. И вообще не был бескрайним, как прежние годы. Был обозрим. Годы у Глеба начинались не первого января, а первого сентября, как в Древней Руси. О том, когда начинался древнерусский год, он, конечно, не знал. Его годом был учебный год, который сейчас переходил в спокойную летнюю стадию. Тем летом Глеб с бабушкой отдыхали в поселке Клавдиево под Киевом. Жили у матери и сына Поляковских – пани Марии и пана Тадеуша. Поляковские, в полном соответствии с фамилией, были поляками – из тех, что приехали строить Юго-Западную железную дорогу. Построив, так и остались в доме, который первоначально считали временным. Лето в этом доме, покосившемся и постепенно врастающем в землю, каком-то уже полуподвальном, стало для Глеба сказкой. Здесь все еще тикала удивительная прежняя жизнь, которую он видел только в кино. Эта жизнь не создавалась для съемок. Просто длилась, продолжала быть в одном лишь этом клавдиевском доме. Возникла будто из шкатулки, потому что дом Поляковских напоминал шкатулку. К пани Марии пан Тадеуш обращался на *вы* и называл ее *мамо*. Это звучало так благородно, что Глеб решил называть на *вы* Антонину Павловну. Та восприняла это не без удивления, но и не возражала. Ее внука хватило только на два дня, потому что нелегкая это задача – называть бабушку на *вы*. И хотя он вернулся к прежнему обращению, его *ты* было уже другим: оно включало в себя двухдневный опыт *вы* в доме пани Марии. В этом доме стоял еще старинный рояль. Он занимал собой почти всю большую комнату и весь был уставлен фотографиями в кипарисовых рамках. Это

была многочисленная родня пани Марии. Вся она в полном составе мелко дрожала, когда на рояле начинали играть. С увеличением звука портреты приходили в движение. На фортиссимо свободно перемещались по крышке рояля, менялись местами, а время от времени даже падали на пол. Когда играла пани Мария, музыка сопровождалась особым звуком, возникавшим при касании клавишей перстнями. Четкий серебряный звук – в отличие от размытого, телесного от подушечек пальцев. Визг педалей. Скрип половиц. Дополнительных звуков было много, но они не мешали. Может быть, даже помогали. Так, сидя в первом ряду партера, благодарно слышишь топот балерин, думая: как хорошо, что в искусстве есть место телесному. Что танцуют не призраки, а мускулистые потные женщины. Иначе искусство улетело бы, как шарик с газом... Музыка пани Марии была прекрасна – в первую очередь возвышенным выражением ее лица. Оно дрожало всеми своими морщинами. Глаза же были лишены движения, они смотрели куда-то вверх, и было в этом что-то незрячее. Особой жизнью жили ее губы – то плотно сомкнутые, то вытянутые в трубочку, подвижные, как у всякого человека с небольшим количеством зубов. Голова была откинута чуть набок. Кивала в такт каждому удару по клавишам, а может быть, просто сотрясалась, потому что взмах рук пани Марии был исполнен мощи. Всё это завораживало поселковых девушек, бравших у нее уроки фортепиано. Они копировали манеру игры и даже движения пани Марии, включая трясение головой. Не понимали, что есть движения, рождаемые опытом, самой, если угодно, жизнью, и на пустом месте их не повторить. Чтобы так держаться, нужно всю жизнь в пыльном поселке прожить гранд-дамой, что непросто, очень непросто. Не проще, заметим, чем иметь отца, способного поехать в Петербург и поговорить с министром путей сообщения. История такова: при строительстве Юго-Западной железной дороги в честь министра Немешаева получают названия станции Немешаево-1 и Немешаево-2. Машинисты их часто путают, так что пан Антон (*бардзо элэгантиський!*) самостоятельно едет к Клавдию Семеновичу Немешаеву и предлагает заменить Немешаево-2 на Клавдиево. Отличная идея – Клавдиево. Душа Клавдия Семеновича одобряла ее даже после его смерти. Тадеуш рассказывал, что неоднократно видел, как души Клавдия Семеновича и пана Антона, обнявшись, гуляют по саду. Будучи хорошим рисовальщиком, Тадеуш так и нарисовал их – в саду, в обнимку. Портрет двух работников железной дороги висел над кроватью Глеба. Лежа в постели, Глеб рассматривал изображенных. Круглое, в обрамлении нескольких подбородков лицо Немешаева. Когда художника спрашивали, может ли душа иметь столько подбородков, он признавался, что лица Немешаева, вообще говоря, не разглядел. Портрет Клавдия Семеновича взять здесь было негде, потому пришлось рисовать его на основе общего представления пана Тадеуша о министрах. Другое лицо – лицо пана Антона: вытянутое, глубоко посаженные глаза, тонкие губы. Скулы остры. Эти же черты очевидно проявлялись в Тадеуше, особенно когда тот пел под аккомпанемент матери. Будто лягушка-царевна, с первыми нотами он сбрасывал свою обветренность, мозолистость и восстанавливал родовое изящество. Пани Мария прожила почти всю жизнь в поселке, но крестьянкой не стала. А Тадеуш – тот стал. Он был первым крестьянином в этом роду. Пение было, пожалуй, единственным, что приподнимало его над сельскими буднями. Разумеется, в селе пели не только Поляковские – в будни и в праздники, – и уж точно не хуже, чем в городе. Но в селе пели народные песни или что-то из советской эстрады, а пан Тадеуш пел романсы – есть разница. И не пел – исполнял. Стоял, облокотившись о рояль, и смотрел на мать, которая в этом дуэте была еще и дирижером. Он, конечно, был способен вступить и сам, но делал это всегда по ее кивку, ловил его – так, видимо, было заведено у них изначально. У Тадеуша был негромкий приятный баритон. В оболочке именно этого голоса в душу Глеба вошли и *Сомнение* Глинки, и *Серенада* Шуберта, и *Утро туманное* Абазы, и многое другое, что заставляло его сердце учащенно биться. *Уймись, волнения страсти...* – после таких вечеров он долго не мог заснуть. У Антонины Павловны, слышавшей, как Глеб ворочается, мелькала даже мысль прекратить вечерние концерты, но она ее от себя гнала. Понимала, что внук – натура тонкая, и гордилась этим. Правда, после позд-

него засыпания Глеб и просыпался довольно поздно, но бабушка его не будила. В такие дни он вставал, когда сад уже наполнялся духотой и запахом разогретых на солнце яблок. Но были в Клавдиеве и другие утра – такие ранние, что звук ручейника на вбитой в землю свае казался набатом. В такую рань яблони были окутаны туманом, и только солнечные лучи придавали картинке резкость. Сидя в покосившейся беседке за самоваром, пили чай в наброшенных на плечи куртках. От самовара поднимался пар. От жестяных кружек с чаем тоже поднимался. Шел изо рта каждого участника чаепития. За деревьями, у самого забора, стояли в обнимку пан Антон и Клавдий Семенович Немешаев. Они наблюдали за тем, как, напившись чая, дачники отправлялись в лес. Сначала Глеб с бабушкой шли по грунтовой дороге, обходили лужи, оставшиеся в колеях после ночного дождя. На открытых пространствах – там, где лес отступал от дороги, – гулял ветер, и поверхность луж покрывалась рябью. В таких местах с деревьями уходила тень, а лучи солнца были уже по-настоящему горячи. Глеб чувствовал их тяжесть на плечах – ему казалось, что они пригибали его к земле, – и шел, сутулясь. В ветре уже не было свежести, в нем нет-нет да и чувствовался неизвестно откуда принесенный зной. Глеб с бабушкой сворачивали с дороги в лес. Ноги их утопали в глубоком мху. Сосны были неправдоподобно высокими и мощными. Были чем-то противоположным по отношению к дому пани Марии, заключавшему весь мир в шкапулку. А тут мир как бы расправлялся, показывал, каким огромным может быть. Но этим дело не оканчивалось: ночью, когда гас свет на летней веранде, мир являл свои истинные размеры и в саду Поляковских. На черноте неба выступали звезды. Под ними, в мигании сигнальных огней, беззвучно пролетали самолеты, маленькие и беззащитные. Призывая летчиков к осторожности, пан Тадеуш негромко рассказывал им с земли, как просто в таких случаях соскользнуть в черную бездну. Все-таки земля уютна, и хорошая беседа на крыльце, и вечерняя рыбалка... Всего этого, знаете ли, было бы жаль лишиться. Не говорю уже об ударах о землю падающих яблок. Они хоть и глухи, но, взятые в своей отдельности ночью, производят, я вам доложу, впечатление – особенно когда летит крупная антоновка. Метеорит! А скрип калитки на ржавых петлях – на высоте 11 000 метров его нет, он существует только здесь. Тадеуш подходил к калитке и начинал ее открывать и закрывать. Ну? Что? Где еще вы найдете такой первоклассный скрип? Сто раз мог смазать петли, мне ж это раз плюнуть, но не смазываю, чтобы сохранить чистоту звука. Он, между прочим, находится под охраной ЮНЕСКО – такой это скрип... Прищурившись, пан Тадеуш посматривал на беспечные самолеты, и в глубине души ему было горько, что он никогда не летал. Изредка делал кругообразные движения папироской – это была команда самолетам сбросить высоту. Они его, за редкими исключениями, слушались. Снижались – куда им было деться? Время от времени он задумчиво приближался к забору, и из мрака несло приглушенное бульканье. Вернувшись и вытерев губы, в разговоре с пролетающими мимо пан Тадеуш переходил на шепот. Да, панове, можно сказать, что моя жизнь прошла на этих десяти сотках. Допустим, что она сложилась не так, как я хотел. А может, и просто сложилась. Схлопнулась. Смялась, как этот спичечный коробок (звук сминаемого коробка). Стала, если позволите, узкой. Подняв ладонь, пан Тадеуш демонстрирует летному составу раздавленный коробок: и даже плоской... Но упаси вас бог забираться в те высоты, откуда уже нет возврата. Это, панове, говорю вам я, который лучше других понимает, что есть отсутствие пределов.

03.02.13, Лондон

На концерте в лондонском Альберт-холле не могу сыграть чисто ни одного форшлага. За этим следует вечер моего сумасшествия. Отмечая свое выступление в русском ресторане на Веллингтон-роуд, я много пью, громко шучу, хохочу и даже мяукаю. Такую форму принимает мое отчаяние. Катя, которая догадывается о причине веселья, под столом кладет мне на колено руку. Когда рука предупреждающе сжимается, я, мякнув, колю ее зубочисткой. Катя с криком подпрыгивает, и это сопровождается новым взрывом хохота. Кто-то тихо говорит, что впервые видит развеселившуюся Катю. Эти слова почему-то слышат все. Хохот. Следует тост за Катю. Ее бокал пуст. Это замечает сосед Кати слева.

– Что вам налить?

– Не знаю. Шампанского, может быть...

– А что у вас с рукой? Это кровь?

Катя смотрит на руку.

– Укололась где-то.

Официант приносит дезинфицирующий спрей, распыляет его над рукой и заклеивает ранку пластырем.

– За раненую Катю!

Улыбаясь сквозь слезы, Катя поднимает бокал и чокается со всеми по очереди. После паузы поворачивается ко мне. Я с силой въезжаю в ее бокал своим бокалом, отчего вино расплескивается.

– Тебе за это будет стыдно, – говорит Катя одними губами.

Мне уже стыдно. И уже больно.

– Раненая, твою мать... Вали отсюда!

Мне до смерти хочется, чтобы мир разрушился. В самых значимых и дорогих его частях. До смерти.

Катя ставит бокал на залитую вином скатерть, вытирает мокрые пальцы салфеткой и выходит из-за стола. Официант вызывает ей такси, она уезжает.

– Ну вот, остался без жены, – грустит Майер, мой продюсер. – И что в этом хорошего?

Он немец, но в сегодняшней компании говорит по-английски. Все сегодня говорят по-английски.

– Но я не остался без жены! – обвожу присутствующих взглядом и останавливаюсь на девушке лет восемнадцати. Как бы только что заметил. На самом деле хитрю: я заметил ее давно. – Будете моей женой?

– На сегодня, – уточняет Майер. – Потому что у него уже одна жена есть. А вы, простите, за этим столом кого представляете?

Девушка, коротко:

– *Femen*.

Майер театрально морщит лоб, как бы что-то припоминая. Закрывает лицо руками и произносит сквозь неплотно сдвинутые пальцы:

– Так мы вроде бы такого движения не приглашали.

Начинает звучать украинский:

– Нас ніхто не запрошує²⁷. Ми приходимо самі.

Переводят для Майера. Все хохочут.

– Майер, не приставай!

²⁷ Приглашает.

Я направляюсь к девушке. Беру ее за руку и веду к своей части стола. Усаживаю на стул Кати. По пути выясняется, что девушку зовут Ганной, и все пьют за Ганну.

– Быть в *Femen*, Ганна, большая ответственность, – говорит, закуривая, Майер, – но не все это осознают. Членство в движении предполагает не только идеологическое соответствие, правда?

– Про що це ви? – Ганна тоже закуривает.

Пытаюсь перевести ее вопрос, но язык плохо меня слушается. Кто-то это делает вместо меня. Майер кивает.

– Имею в виду, что не всякую грудь можно оголять. Когда на сцену выскакивает тетка с обвисшими сиськами, меркнет любая идея. Вы меня понимаете?

Ганна гасит окурок в пепельнице и начинает не торопясь расстегивать блузку. Бюстгальтера девушка не носит – грудь идеальной формы, упруга. Темно-коричневые соски, татуировка с названием движения. Продемонстрированное вызывает аплодисменты. Право Ганны на участие в движении признаётся единогласно. Я целую девушку в губы и чувствую ее ответ. А может, и не чувствую: ощущения становятся всё обманчивей.

Когда около полуночи все разъезжаются по домам, мы с Ганной оказываемся в одном такси.

– В отель! – команду водителю-арабу.

Дождавшись окончания нашего с Ганной поцелуя, водитель спрашивает:

– В какой, сэр?

– В любой!

Машина неторопливо трогается с места. С той же скоростью в заднем стекле удаляются провожающие. Уже почти совсем исчезнув, они начинают усиленно махать руками, словно о чем-то забыли. Меня догоняет телефонный звонок. У провожающих остались многочисленные врученные мне букеты. Я распоряжаюсь раздать их нищим. Мы с Ганной пьем шампанское из бутылки.

Через полчаса приходит еще один звонок. Мне описывают, как Майер, покачиваясь, обходит нищих на Веллингтон-роуд. Он находит их на скамейках и вентиляционных решетках, спящими под кучей одеял и в домиках из картонных коробок. Вслед за ним идут еще три человека, несущих охапки цветов. Носком туфли Майер ковыряет в тряпье, всякий раз пытаясь обнаружить лицо хозяина. Глядя в выпученные глаза собеседников, он с учтивым поклоном вручает им цветы от Глеба Яновского. Разбуженные молча берут букеты, но на лицах их нет радости. И благодарности Глебу Яновскому тоже нет.

В гостинице Ганна спрашивает меня, часто ли я изменяю жене. Я отвечаю, что никогда, и это правда. Ганна задумчиво сидит на постели. Вроде бы ничего не говорит, но откуда-то издали слышится ее голос. Если между нами что-то произойдет, я буду жалеть. Ставит меня в известность. Она. Это последнее, что я помню. Не уверен, что между нами что-то произошло.

1977

Стоял изумительный киевский июнь – с теплыми вечерами, лодочными прогулками по Днепру и первыми купаниями. Так случилось, что, уезжая в отпуск, знакомые попросили Антонину Павловну пожить в их квартире на Русановке – новом районе на левом берегу Днепра. Причиной просьбы были кот, рыбы и растения, о которых надлежало заботиться. Причина согласия Антонины Павловны состояла в желании вывезти Глеба на реку: дом располагался на набережной, у одного из рукавов Днепра. Набережная, вопреки обыкновению, шла не у самой воды, а на некотором расстоянии – минутах в пяти ходьбы. Эти пять минут приходилось идти сквозь заросли ивняка, маленькие джунгли с умопомрачительной смесью запахов. В этот букет входили листья (свежие и прошлогодние), песок, вода и пустые ракушки речных улиток. Ракушки придавали букету особую терпкость. То был полный оптимизма аромат смерти, рождающей новую жизнь. Каждое утро Глеб и бабушка шли на пляж, и запах был первым, чем их встречала река. На полпути к пляжу, когда уже начинался песок, они снимали обувь и шли босиком. Песок был нечист, то и дело в нем что-то царапало и кололо, но это не уменьшало удовольствия от погружения ступней в теплую сыпучую стихию. В какой-то момент сквозь ивовые ветви начинала блестеть река. Увидеть танцующее на воде солнце было главной утренней радостью Глеба. Больше даже, чем купание, потому что прикосновение часто оказывается менее значимым, чем мечта о нем. Но ведь и купание было, вообще говоря, прекрасно. Пусть речная вода держала не так, как морская, была непрозрачной, зато она не образовывала больших волн (небольшие шли от моторных лодок). Это была домашняя вода, к ней не нужно было ехать сотни километров, она протекала в городе. Да и пляж, в отличие от юга, был другим. На нем не было тентов и шезлонгов, расставленных с геометрической точностью, – там расстилась тень ив. Вились, с усилием отрываясь от земли, стволы и корни, на которых можно было повесить одежду. Пляжники лежали на полотенцах и подстилках, передвигая их из тени на солнце и наоборот. Речная эта жизнь продолжалась даже дома, потому что окна их квартиры выходили на Днепр. Глеб засыпал под звуки моторок. Вечером они были редкими и оттого драгоценными. Мальчик ловил шум мотора на дальних подступах и мысленно следовал за ним до тех пор, пока не исчезало его эхо. Если лодка шла вверх по течению, он представлял себе ее конечную цель – никогда не виденную, но любимую им Россию. Эту землю с прекрасным женственным именем любили мама и бабушка, так как же было не любить ее Глебу? Если лодка шла по течению вниз, Глеб понимал, что ждет ее Черное море, в котором он не раз купался и которое любил не меньше России. Ему нравился тогда и Днепр, но чувство это длилось недолго – до одного утра, которое навсегда врезалось в память Глеба. Они с бабушкой шли сквозь ивняк на пляж. Прохладный по-утреннему воздух, резкие тени на песке. На одной из дорожек перед ними вынырнула девушка. Очень, ох, неподходящее слово, но на этих дорожках, петлявших сквозь кусты, время от времени кто-то именно что выныривал. Девушка. Видимая со спины: с рассыпавшимися по плечам русыми волосами, в красно-черном купальнике, с завязанным на поясе длинным просвечивающим платком. На правой руке – плетеный браслет из голубой проволоки. Глеб с Антониной Павловной шли босиком, держа в руках сандалии. Девушка тоже шла босиком. Несла на плече соломенную пляжную сумку – может быть, сандалии лежали там. Шагала широко, как-то даже по-балетному, а Глеб копировал ее походку и старался попадать своими ступнями в ее следы. Попадая, чувствовал волнение. На ближайшей развилке она свернула на правую тропинку, а Глеб с бабушкой пошли по левой. Дойдя до воды, они расстелили подстилку – старую штору, часть ее в тени (Антонина Павловна предпочитала тень), а часть на солнце. Загорая, Глеб задремал. Проснулся от криков. Кого-то выносили из воды, кого – не видно, потому что выносящих было много. Глеб видел лишь безвольно качавшуюся руку, скорее всего женскую, но даже этого нельзя было сказать наверняка, поскольку рука то и дело

скрывалась за прибывавшими людьми. Вдруг он заметил на запястье голубую плетенку – это была девушка, которую они видели по дороге на пляж! Ее осторожно положили на песок, и один из мужчин начал ритмично нажимать ей на грудь. Делал искусственное дыхание – рот в рот. Несколько мгновений Глеб ему завидовал. А потом увидел ее глаза – они были открыты. В них не было жизни. Тело девушки все еще сотрясалось под руками спасавшего, но было почему-то ясно, что жизнь ее покинула. И никогда уже не вернется. Через какое-то время из-за кустов показались врачи. Резкими движениями стали разводить девушке руки и сводить их на груди, но делали это недолго. Пощупали пульс. Отошли в сторону и о чем-то тихо говорили. Наблюдали, как тот же человек вновь пытался ее реанимировать. Никто не заметил, как они исчезли. Постепенно толпа вокруг утопленницы стала редеть. Антонина Павловна хотела увести внука, но он воспротивился. Не отрываясь смотрел на девушку, которой, казалось, уже больше никто не интересовался. Те, что еще оставались, говорили больше о своем. Чиркая на утреннем ветру спичками, закуривали, с преувеличенной осторожностью сбрасывали пепел, ввинчивали окурки в песок. Утро, думалось Глебу, утро еще не кончилось, а той, которую этим утром видел, нет – как же это? Она успела ощутить тот же ветер, видела те же облака по краям небес – их ведь даже не разметало еще. Отныне она уже никогда не почувствует ветра, дождя, снега. Снег будет разный – медленно слетающий с небес, колючий, бьющий в лицо. Никакого не почувствует. Не увидит, что река будет разной – подо льдом будет, осенней – в листьях, или такой, как сейчас. Не найдет тапок у кровати. За завтрак не сядет. Не войдет в помещение с холода. Как страшно. Когда Антонина Павловна... Когда Антонина Павловна сказала, что надо уходить, Глеб внезапно закричал на нее – на весь пляж. Тогда она, не говоря ни слова, собрала вещи и ушла, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу. Старая дура, прошипел Глеб. На мгновение он почувствовал к бабушке ненависть. Потому что она (казалось ему) не способна была постичь глубины разыгравшейся драмы. Ее не трогали красота и смерть. А он не мог понять, как только что можно было быть живым, а через час – мертвым. Как? Бабушка вернулась, чтобы все-таки его забрать, и тогда он закричал: пошла вон! Крик перешел в визг. Она ушла и больше уже не возвращалась. Кто-то принес вещи девушки, накрыл ее лицо платком. Этот платок Глеб видел повязанным вокруг ее бедер. Пляж опустел – не весь, а та его часть, с которой была видна утопленница. Рядом с ней оставался лишь Глеб. Ему казалось, что надо еще что-то сделать, чтобы спасти ее. Что в сделанном недостаточно любви. Со стороны окружающих нужно было какое-то усилие души, но окружающих не было. Они предпочли оставить девушку наедине с ее бедой. С ее смертью. Легкий платок порывом ветра сдуло с лица. Глеб рассматривал его и находил прекрасным. Прямой нос. Тонкие полураскрытые губы. Только в изменившемся цвете губ была смерть, да еще в остановившемся взгляде. Больше ни в чем. Но глаза совершенно определенно говорили, что жизнь кончилась. Почему никто их не закрыл? Глеб никогда не видел это лицо живым, потому что шел позади девушки. Всего-то нужно было – забежать вперед и посмотреть. Она бы выразила удивление. Засмеялась бы, махнула рукой. Может быть, даже фыркнула – мало ли на что способен человек, когда к нему проявляют внимание. Сейчас удивлять ее бесполезно: она начисто лишена мимики. Всё надо было делать при ее жизни. Возвращаясь домой, Глеб ожидал трудного разговора с бабушкой. Но этого не произошло. Бабушка молча обняла его, и Глебу стало ясно, что она понимает его как никто другой. Переход из жизни в смерть для нее – вопрос недалекого будущего. В Глебовых ушах еще стояли его злобные крики на пляже. Злость его переплавилась в щемящее чувство к бабушке и в страх скорой ее смерти. И, лежа уже в постели, Глеб заплакал. Слезы текли из его глаз, пока он не заснул. Перед самым рассветом проснулся от скрипа паркета: у его кровати стояла та, о которой он плакал. Сказала, что ее зовут Арина. Он понимал, что в таких случаях речь может идти только о сне, но мокрые волосы Арины и то, как неуверенно она держалась, убедили его, что он имеет дело с реальностью. Арина думала о том, как хрупка жизнь и как легко она может прерваться. Это было видно по ее лицу, которое вновь обрело

мимику. А Глеб думал о том, как мало любви получает человек при жизни. Арина кивнула: может, ничего бы со мной не случилось, если бы меня любили по-настоящему. Может, вода затягивает тех, кого не держит ничье чувство. Наверное, так всё и происходит, согласился Глеб. Надо было обнять тебя, лежащую на песке, и ударами своего сердца завести твоё остановившееся. Чтобы одно сердце отозвалось на ритм другого. За окном светало, и Глебу показалось, что это свет сбывающейся надежды. Арина прижалась лбом к его лбу. Он чувствовал, как вода с ее волос стекает по его лицу, шее, груди. Душа Глеба, наполнившись счастьем, стала легкой. Полетела над пляжем, объявляя загорающим о грядущем бракосочетании Глеба с Ариной или просто о каком-то таком сочетании, которое крепче брака. О чем именно объявляла душа Глеба, не казалось столь уж значимым. Арино возвращение к жизни было в тысячу раз важнее этих подробностей. Пляжники махали в ответ ивовыми ветвями, но как-то неуверенно. До Глеба доносились голоса, считавшие информацию преждевременной. Его это сместило. Он проснулся с улыбкой и сердцем, полным света. Поняв, что радость ему приснилась, помрачнел. Несколько дней, остававшихся до возвращения хозяев квартиры, бабушка и внук провели в подавленном настроении. Спускались временами во двор, но на пляж больше не ходили. Когда, уезжая с Русановки, в вагоне метро пересекали Днепр, Глеб отвернулся от окна. Он уставился в потолок и сидел неподвижно, пока вдруг не увидел на нем игру отраженного от воды солнца. Он опустил голову на руки, ладони его закрыли лицо, и никаких признаков реки больше не ощущалось. Вернувшись домой, Глеб вроде бы забыл о смерти на реке. Так, по крайней мере, казалось Антонине Павловне. Но когда спустя месяц она предложила ему вместе поехать в Крым, он отказался. Дело было не в самом отказе, а в его категоричности. Антонина Павловна поняла, что посещение любых пляжей ее внуку на время противопоказано. Остаток лета Глеб провел в городе. Немного читал, но большую часть времени проводил на улице. Начал курить. Вечерами на опустевших детских площадках невозможно было не закурить: там курили все. Сидели на спинках низких лавочек и пенящейся слюной сплевывали сквозь зубы на землю. На сиденьях выжигали сигаретами свои имена. Или, туго закручивая цепи, вращались вокруг своей оси на качелях. От выжигавших и вращавшихся Глеб не слышал ни одной законченной фразы, их речь, по большому счету, была мычанием. Они ходили с открытым ртом и бессмысленно выкатывали глаза. Поступал ли таким же образом Глеб? Видимо, да. Посещать детскую площадку можно было лишь на этих условиях. Зачем он так поступал – в точности Глеб не знал и сам. Скорее всего, это было подсознательное желание оказаться среди таких же, как он, потерянных и несчастных. Потому что подростки обычно несчастны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.